

## ПРЕДЫСТОРИЯ УРАЛЬСКИХ НАРОДОВ

В. В. НАПОЛЬСКИХ

Институт Этнологии и Антропологии РАН, Москва, Россия

### 1. О МЕТОДОЛОГИИ

Данная работа основана в общем на тех же методологических принципах, которые лежат в основе многих других исследований в области уральской<sup>1</sup> пред-  
дистории (см., напр.: HALDU 1964b; SEBESTYÉN 1951; TOIVONEN 1952 и др.). Пред-  
ставляется, однако, необходимым изложить их здесь вкратце – и потому, что в  
большинстве работ по данному предмету эти принципы заложены лишь им-  
плицитно, и для того, чтобы ознакомить читателя Энциклопедии с общей  
проблематикой вопроса и с используемой здесь терминологией.

Под преддисторией в целом здесь понимается период истории человечества,  
не освещённый письменными источниками. Для многих уральских народов  
верхняя граница преддистории может быть обозначена как I – начало II тыс. н.  
э. – именно в это время появляются первые упоминания о большинстве из них в  
письменных источниках. Однако, поскольку целью данной статьи является ос-  
вещение *общей* истории уральских народов, раскрытие причин и механизма  
исторических процессов, приведших к тому, что мы сегодня можем говорить  
об уральской *общности* (см. ниже), верхние временные границы уральской  
преддистории должны быть сдвинуты в древность, примерно к рубежу эр, когда  
уже сформировались основы современных групп уральских языков: прибалтий-  
ско-финских, саамских, мордовских, марийских, пермских, обско-угорских,  
венгерского, самодийских (см. о делении уральской общности ниже), – и на-  
чалось, таким образом, их обособленное развитие. Нижние хронологические  
пределы уральской преддистории ограничены лишь возможностями нашего  
проникновения в глубину прошлого: в некоторых своих аспектах она может  
быть прослежена вплоть до верхнего палеолита.

Группировка уральских народов выделена по единственному признаку:  
принадлежности языков, на которых они говорят, к уральской языковой семье.  
Следовательно, говоря о преддистории *уральских народов* следует помнить, что  
речь идёт в первую очередь о преддистории *уральских языков*, точнее – о ре-  
конструкции тех исторических процессов, вследствие которых уральские языки

<sup>1</sup> Здесь и далее слова «уральский», «уральцы» используются вместо более корректного, но гро-  
моздкого понятия «народы, говорящие на языках уральской языковой семьи» (аналогично: «финно-уг-  
ры», «самодийцы», «индоевропейцы» и т. д.).

сложились и распространились на известных территориях, процессов, определивших взаимосвязи уральских языков друг с другом и с неродственными языками. При этом следует помнить о том, что языковая преемственность совершенно не обязательно влечёт за собой преемственность культурную или генетическую. Более того, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что на всём протяжении истории наиболее частым и действенным языковым процессом была ассимиляция, приводившая как к «победе» одного языка и исчезновению другого с возникновением в первом субстратных явлений, так и к распаду языка- «победителя» вследствие воздействия на него разных субстратов в разных ареалах его бытования. К тому же, совершенное знание языков соседей, характерное для активной части аборигенного населения регионов, в которых до недавнего времени сохранялся достаточно архаичный социально-экономический уклад (тайга Западной Сибири, северо-восток Сибири, Австралия и т. д.), позволяет полагать, что одноязычность большинства населения современного «цивилизованного» мира – явление отнюдь не универсальное в человеческой истории, и в отдалённое прошлое можно смело проецировать ситуацию размытости языковых границ, постоянного столкновения и взаимовлияния языков в условиях всеобщей полиглотии.

Сказанное выше, однако, вовсе не означает, что исследование предыстории должно исчерпываться только историей языка. Как раз наоборот: обрисованная выше неоднозначность и сложность языковых процессов приводит к тому, что чисто лингвистические штудии, во-первых, ограничиваются лишь констатацией того или иного языкового развития, но не могут объяснить его исторические причины (точнее – даже не ставят своей целью их объяснить) и, во-вторых, – и это главное – сами полностью зависят от имеющегося в распоряжении исследователя исторического материала: например, даже отнесение той или иной этимологии к «исконной» лексике или заимствованиям, направление поиска источника этого заимствования определяются представлениями этимолога об исторических связях и контактах носителей данного языка, о принципиальной исторической возможности или невозможности заимствования из того или иного источника, в тот или иной период.<sup>2</sup> Лингвистические построения, таким образом, требуют исторического наполнения.<sup>3</sup> Базой, позволяющей говорить о возможности такого «наполнения» в принципе,

<sup>2</sup> См., например, поиск источника для названия ржи в пермских и мордовских языках (удм. *zeg*, *zizek*, коми *ruzeg* < ППерм *\*ruzeg* «рожь» – морд. (М, Э) *roz* «тж») в иранских (включая фракийский!) [PAASONEN 1906] и в балтских (точнее – в латышском!) [КЭС: 245] языках, в то время как корень *\*ruz-* имеет явно славянский облик (ср. ПСлав *\*rūzi* < и.-е. *\*roghio* «рожь» [Фасмер III: 493–494]), на что указывалось давно (ещё в начале века – см.: [PAASONEN 1906: 1]), но предполагать здесь славянское заимствование считалось невозможным, так как не предполагалась возможность праславянско-прапермских контактов. Впрочем, примеров такого рода можно приводить бесчётное количество.

<sup>3</sup> Думается, что именно отсутствие такого «исторического наполнения» является реальной причиной неприятия многими лингвистами гипотез отдалённого языкового родства типа ностратической, хотя они, естественно, предпочитают облекать свой скепсис в чисто лингвистические термины.

является законное предположение о том, что общая лингвистическая история определённой группы народов должна так или иначе отразиться на истории их материальной и духовной культуры и физического типа. Исследование предыстории носит, таким образом, принципиально комплексный характер: помимо данных языкознания оно по необходимости базируется на данных археологии, физической антропологии, этнографии, палеобиогеографии и т. д. Эти данные должны быть связаны друг с другом в рамках исторической модели, объясняющей генетические и логические взаимосвязи фактов, установленных с помощью методов названных выше наук. Создание такой внутренне непротиворечивой, учитывающей и объясняющей максимальное количество исторических фактов модели является целью любого исследования в области предыстории. Таким образом, «наполнить» лингвистические построения историческим содержанием – значит ответить не столько на вопросы «где?», «когда?», «кто?», сколько на вопрос «почему?». Поэтому, например, констатация миграции по археологическим материалам сама по себе для исследователя предыстории малоценна: необходимо установить её причины, ход и последствия, создать модель взаимодействия пришлых на данной территории групп и аборигенов на разных стадиях контакта, определяющую историю их языков, культуры и физического типа и т. д. Постулируя при этом смену языка на данной территории необходимо подтвердить её наличием субстратных явлений в языке «победителя» или объяснить отсутствие таковых.

Ключевыми для предыстории являются понятия «*п्राязык*», «*пранарод*», «*пранародина*».

Термин «*п्राязык*» (реже – «*язык-основа*») имеет несколько отличный смысл в собственно лингвистических и в исторических исследованиях. Для лингвиста-компаративиста цель его работы – реконструкция *п्राязыка* – условной модели, строгой системы фонетических, лексических, грамматических и, возможно, синтаксических соответствий, общих для всех родственных языков, системы, которая позволяет сравнивать эти языки друг с другом и с другими языками, демонстрируя в первом случае общность, единство (система «работает»), а во втором – либо отсутствие сходства вообще, либо иной его характер, например, контактный («работают» другие соответствия, охватывающие другой набор языков, при этом уровень развёрнутости их системы на порядок ниже уровня развёрнутости системы *п्राязыковых* параллелей). Для исследователя же предыстории термин *п्राязык* выражает собой понятие о реально существовавшем некогда языковом организме (относительно единый язык, или массив родственных диалектов, или несколько тесно контактировавших близкородственных языков – суждение о реальном характере этого организма является одной из задач исторического исследования), который в ходе своего развития (расхождение диалектов, ассимиляция родственных и неродственных языков, различные влияния со стороны этих языков, миграции носителей языка, консолидация родственных языков или диалектов, образование «пиджинов» и т. д.) послужил, в конечном счёте, основным (системообразующим) компонентом для сложения исторически известных языков данной группы. Для

исследователя предыстории *праязык* является, таким образом, не конечным продуктом научных изысканий, а одним из элементов создаваемой в ходе исследовательской работы исторической модели; при этом предполагается, что лингвистическая реконструкция позволяет с достаточной достоверностью восстановить основной лексический фонд праязыка, судить об особенностях его диалектного членения, об ареальных и генетических связях его с другими языками.

Термины *пранарод* – общность людей, для которых праязык (во всём возможном многообразии стоящих за этим термином реалий являлся) основным средством общения, инструментом сохранения и развития культуры, фактором самосознания и социальной интеграции, и *прародина* – территория, где обитал пранарод, где функционировала и развивалась его культура, отражённая в праязыке, – принадлежат уже исключительно предыстории. Понятие *пранарод*, означающее, на первый взгляд, не более чем «сообщество носителей праязыка» может быть существенно расширено с этноисторических позиций через обнаружение фактов, свидетельствующих об исконной общности, единстве данной группы народов не только по языку, но и по культуре и антропологическому типу. Важно, чтобы эти факты образовывали системные комплексы, отражающие пракультуру и антропологический прототип подобно тому, как система языковых фактов, выявляемых в отдельных языках отражает праязыковое состояние. Необходимо подчеркнуть, что, как и всякое историческое понятие, *пранарод* и *прародина* должны рассматриваться в их пространственной и временной динамике, учитывая как возможную размытость границ между «материнским» и «дочерним» праязыками (например, переход от прауральского к прафинно-угорскому не как некий единовременный акт, скачок, а как постепенное «перетекание» из одного состояния в другое), так и возможный аморфный характер иных праязыковых единиц, для которых уместнее употребление термина *праязыковая общность*, а не *праязык* (например, такими скорее всего были финно-пермская и финно-волжская общности,<sup>4</sup> представлявшие собою, обширные массивы родственных языков и диалектов, свя-

<sup>4</sup> Характерно, что попытки продемонстрировать реальность былого существования так называемого финно-волжского праязыка (общего «языка-предка» прибалтийско-финских, саамских, мордовских, марийских языков) приводят, вопреки желанию их авторов, к обратному результату: из 22 «специфических [грамматических] изоглосс», приводимых в качестве общих для всех четырёх ветвей этого «праязыка» [СЕРЕБРЕННИКОВ 1989: 10–17] лишь две (латив на \*-s и причастие на \*-n) с известными оговорками могут рассматриваться как реальные общие инновации финно-волжского уровня, – основание, явно недостаточное для постулирования былого существования единого праязыка, особенно на фоне очевидной общности происхождения ряда морфологических показателей в прибалтийско-финских и мордовских языках (см. хотя бы часть их там же: [СЕРЕБРЕННИКОВ 1989: 20–21]), с одной стороны, и наличия грамматических параллелей подкрепляемых значительным пластом общей лексики, в марийских и пермских языках [BERECZKI 1963], с другой. Попытка Г. Берецки объяснить особые пермско-марийские лексические отношения исключительно заимствованиями (см.: [BERECZKI 1963: 272; 1992: 97–129]) выглядит не слишком убедительно, более основательным кажется подход Е. А. Хелимского [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 15–19] (см. там же и анализ прибалтийско-мордовских и марийско-пермских параллелей), которому я и следую в данной статье.

занных друг с другом многообразными *ареально-генетическими связями* [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 24–25]. Нельзя, однако, полностью исключать и существования в прошлом относительно монолитных праязыков (как, например, пермский или самодийский праязыки, по крайней мере на их ранних стадиях) и возможности скачкообразных процессов их распада. Необходимо учитывать и ещё одно важное обстоятельство: сравнительный анализ уральских языков позволяет восстанавливать основные особенности уральского праязыка лишь на последней стадии его развития, непосредственно предшествовавшей его распаду. Поэтому, оставаясь в рамках собственно *уральской* предыстории (не проникая глубже в предысторию Северной Евразии в целом), под уральской *прародиной* следует понимать район, где уральский пранарод обитал незадолго до или непосредственно в период распада уральского праязыкового единства [HAJDÚ 1969: 256].<sup>5</sup>

Согласно господствующим в языкознании воззрениям, основным процессом в формировании современных языков была языковая дивергенция, представляемая обычно в виде цепочки следующих друг за другом праязыков, каждый из которых распадался на два (чаще всего) или более дочерних праязыка, – схемы «родословного древа» языков той или иной языковой семьи. Для более чёткого понимания того, что кроется под словами «*распад праязыка*» (в том смысле, какой вкладывается в это понятие в предыстории), я предлагаю рассматривать этот процесс в виде следующей принципиальной модели (см. рис. 1). В любом живом языке постоянно и спонтанно возникают разного рода инновации, но любое живое сообщество (пранарод), а значит – и язык (праязык), стремится сохранить свою целостность с помощью специальных механизмов консервации старого и интеграции вновь появляющихся элементов в уже существующую систему – своего рода культурной и языковой «памяти». В обычных условиях ареалы отдельных языковых (и культурных!) инноваций перекрывают друг друга, взаимопересекаются, образуя своего рода равномерную «сеть», покрывающую всё пространство функционирования языка, и силы интеграции доминируют (рис. 1а). В определённый момент начинает действовать некий *дезинтеграционный фактор* (доминирующее влияние чужого языка и культуры, изменения экологической обстановки, развитие новых прогрессивных отраслей экономики, возникновение политических центров и т. д.), чьё влияние, особо осязаемое лишь в части праязыкового ареала, начинает «стягивать» инновации к одному району. Таким образом складываются один или несколько центров концентрации инновации (рис. 1б). Важно, что эти центры не охватывают весь праязыковой массив целиком: сохраняются зоны с «нормальным» консервативным развитием. В силу преимущественной концентрации инноваций в названных центрах в них складываются свои, особые «сети» инноваций и начинают, таким образом, действовать внутренние интегра-

<sup>5</sup> «Nach der bisherigen Praxis wird als Urheimat der uralischen Völker das Gebiet betrachtet, wo sich die gesellschaftliche und sprachliche Einheit der Uralier auflöste. Als uralische Urheimat bezeichnen wir auch im besten Fall nur die Wohnsitze ein- bis zweitausend Jahre vor Auflösung der Einheit» [HAJDÚ 1969: 256].

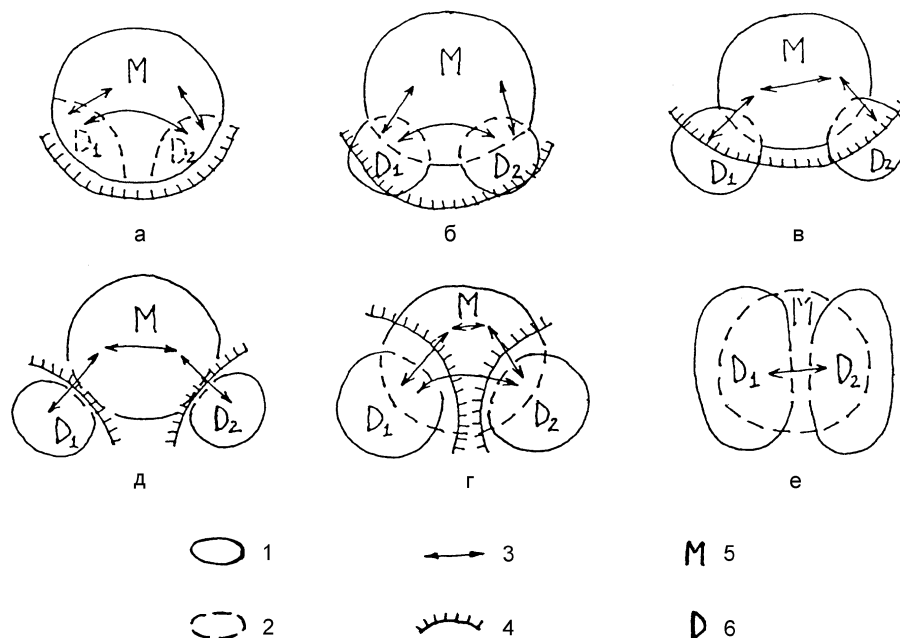


Рис. 1. Распад праязыка

ционные силы, противостоящие силам интеграции всего «материнского» праязыкового массива – начинается процесс его распада, на первом этапе которого всё более возрастает концентрация инноваций в указанных центрах, и всё меньшее число инноваций охватывает весь «материнский» массив. Складывающиеся таким образом новые, «дочерние» языковые массивы шаг за шагом обособляются от «материнского», хотя и продолжают сохраняться междialeктные связи в его пределах – в основном между соседними группами (ареально-генетические). Данную стадию распада праязыка можно назвать «почкованием» дочерних групп (рис. 1в). Эта стадия может завершиться окончательным обособлением «дочерней» группы и возникновением двух новых языков, один из которых, по сути дела, будет представлять собой остаток «материнского» праязыка. Однако реальный ход дел, в большинстве случаев, по-видимому, этим не ограничивался: в конце фазы «почкования» носители «дочерних» языков должны были бы адаптироваться к факторам, положившим начало дезинтеграционных процессов (освоить новые виды экономики, новое природное окружение, включиться в состав возникающих политических образований и т. д.), благодаря чему сами начинали оказывать давление на группы «материнского» массива, не попавшие ранее под влияние дезинтеграционного фактора. В языковом плане (равно как и, собственно говоря, в социо-культурном) это давление облегчалось тем, что сохранялись ареально-генетические связи между «дочерними» и «материнскими» группами. Таким

образом начиналась вторая фаза распада праязыка – фаза «поглощения» (рис. 1г), основное отличие её от предшествующей (если в качестве дезинтеграционного фактора рассматривать влияние чуждых в этноязыковом плане групп) состояло в том, что результатом первой (в силу гетерогенности взаимодействующих языков) могло стать либо появление массива заимствований в «дочерних» языках, либо исчезновение «материнского» языка вследствие ассимиляции его, тогда как влияние не до конца обособившихся «дочерних» групп, благодаря сохраняющимся ареально-генетическим связям их с «материнским» массивом, могло приводить к постепенному распространению волн инноваций, возникающих в пределах «дочерних» ареалов вглубь «материнского» массива (рис. 1д), что при продолжающемся действии дезинтеграционного фактора, могло в конце концов приводить к полному охвату всего «материнского» праязыкового ареала этими волнами, к вовлечению сохранявшихся ранее нетронутыми новым развитием диалектов праязыка в сферы влияния формирующихся «дочерних» языков (рис. 1е). Таким образом процесс праязыкового распада находит своё завершение.<sup>6</sup>

Важнейший вывод, который вытекает из изложенной здесь модели состоит в том, что, поскольку в любом живом языке постоянно действуют центробежные силы (возникают ареально ограниченные инновации), сдерживаемые «в норме» центростремительными, и противоборство этих двух тенденций носит волнообразный характер, в том числе – и на разных стадиях распада языка, – постольку точно установить ту грань, когда в «материнском» языке возобладали центробежные силы (начался распад) или когда произошло замыкание кругов центростремительных сил в «дочерних» языках (распад закончился), практически невозможно, даже при наличии письменных источников, документирующих этот процесс (см., например, распад древнерусского языка или образование романских языков на базе «народной латыни»). По-видимому, факт языкового распада (а следовательно – и его датировка) определяется не собственно внутриязыковыми причинами (лингвисты и сегодня не имеют инструмента для определения статуса той или иной языковой единицы как диалекта или отдельного языка, тем более ничего подобного не могло иметь места в прошлом), а исключительно социальными обстоятельствами, историческими причинами, которые приводят к тому, что в сознании людей той или иной общности закрепляется представление об обособленности, самостоятельности

<sup>6</sup> Здесь был рассмотрен только один случай праязыкового распада: разделение «материнского» праязыка на два «дочерних», замечательный тем, что именно он традиционно имеется в виду в большинстве палеолингвистических построений (фигура типа  $\begin{array}{c} \text{—} \\ | \\ \text{—} \end{array}$  на схемах «родословного древа» языков). Описать все теоретически мыслимые ситуации распада не представляется возможным – принимая во внимание разнообразие дезинтеграционных факторов, неограниченное в принципе количество возникающих «дочерних» массивов, различные пути развития по линии «почкования» – «поглощения» на любой стадии процесса и т. д. Изложенные в п. 1.5. наблюдения должны рассматриваться как *модель*, отражающая *процесс* распада праязыка, в отличие от «родословного древа» – *схемы*, отражающей *результат* исторического развития языков данной группы.

ности их языка, язык получает имя.<sup>7</sup> Такими обстоятельствами могли быть миграции, приводившие к прекращению ареально-генетических контактов, вмешательство иноязычных групп (субстратные или суперстратные влияния, приход иноязычного населения и образование территориального «клина» между диалектами праязыка), образование социально-экономических и политических организмов. Исследователь предыстории должен видеть за распадом праязыка *социальные* процессы.

Из сказанного выше следует, что многие, если не большинство, из групп-носителей диалектов того или иного праязыка или языков, составлявших ту или иную праязыковую общность («материнский» массив в целом на рис. 1а), не оставили прямых языковых потомков, будучи ассимилированы иными – родственными по языку или неродственными – группами. Применительно к уральской предыстории было предложено именовать эти (ассимилированные впоследствии) праязыковые группы *парауральскими*, в отличие от непосредственных языковых предков сегодняшних уральцев (носителей праязыковых диалектов, составивших впоследствии системообразующие компоненты в сложении исторических уральских языков) – *эндоуральцев* (диалекты зарождающихся «дочерних» массивов на рис. 1а) [НАПОЛЬСКИХ 1991: 22–23]. Исторически *парауральцы* не только продуцировали различные субстратные явления в языках и культурах групп, ассимилировавших их, но и должны были сыграть важную роль в обеспечении ареально-генетических контактов между отдельными прауральскими группами. По-видимому, механизм таких контактов не сводился исключительно к взаимодействию соседних прауральских групп друг с другом, а был более сложным, организованным в пределах обширных пересекающихся ареалов, образуемых как *эндо-*, так и *парауральскими* группами, а также – соседними группами неуральской языковой принадлежности, некоторые из которых могли переходить на уральскую речь, пользоваться ею как *lingua franca* и т. д., оказывая, таким образом, существенное влияние на развитие уральских языков, – они составляли третью категорию прауральцев – *экоуральцев*.

## 2. КЛАССИФИКАЦИЯ УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

Учитывая всю сложность уральской предыстории, лишь в самых общих её возможностях обрисованную выше, необходимо, тем не менее представить

<sup>7</sup> Смотрите, например, ситуацию с коми языками, когда самый, с точки зрения лингвистики, обособленный из них – коми-язьвинский рассматривается как коми-(пермяцкий) диалект, а северные коми-пермяцкие говоры, в лингвистическом смысле гораздо сильнее отличающиеся от южных коми-пермяцких диалектов, чем от соседних коми-зырянских (верхневычегодского), считаются принадлежащими к коми-пермяцкому языку (см. [БАТАЛОВА 1975: 210–220; БАТАЛОВА 1993: 238–239]. Примерно аналогичная ситуация – с прибалтийско-финскими диалектами; в литературе постоянно упоминается о том, что так называемые диалекты обско-угорских языков представляют собой, по сути дела, самостоятельные языки [Хонти 1993а: 300; Хонти 1993б: 302], равно как и самские «диалекты» [Хайду 1985: 117] и т. д. и т. п.



прежде всего общую картину пройденного уральскими языками исторического пути – с тем, чтобы определить опорные, узловые точки их эволюции, а также – основные тенденции этой эволюции и основные определяющие её на том или ином этапе факторы. Отбор таких «узловых точек» и определение основных тенденций и факторов языковой эволюции необходимы как база для построения этноисторической модели.

Традиционно историю языков уральской семьи принято представлять в виде последовательного дробления цепочки праязыков, визуально представляемой в виде схемы «родословного древа языков». За долгую историю уралистики таких «древ» нарисовано множество (см. сводку их у [SZU 1990: 21–57], их историю в общих чертах в [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 9–10]). В силу того, что данная схема имеет корни в научных представлениях эволюционистов XIX века и, естественно, не может отражать адекватно и полно реальную историю уральских языков, во-первых, и часто понимается специалистами, работающими в смежных дисциплинах (прежде всего – в археологии) слишком буквально, продуцируя таким образом ложные стереотипы (см. [LARSSON 1990]), во-вторых, – она систематически подвергается достаточно суровой и аргументированной критике, в том числе – и в уралистике (см., например: [HAKKINEN 1984]). Отнюдь не выступая здесь её твердолобым сторонником, не могу не согласиться с Е. А. Хелимским, который считает, что схема «родословного древа» языков «остаётся надёжным и наглядным (хотя и не вполне точным) средством представления взаимоотношений родственных языков» [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 9], а неполнота отражения картины реальных взаимоотношений между финно-угорскими (resp. – уральскими) языками на этой схеме «связана с уже упоминавшейся сложностью реальных процессов языковой дифференциации, которые в родословном древе представлены схематично, упрощённо» [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 11].

Схему «родословного древа» следует рассматривать не как отражение *процесса* распада праязыка, а как отражение *исторически сложившегося* (именно так!) *результата* этого распада – в отличие от *лингвистически фиксируемого* состояния развития языков и диалектов в тот или иной момент времени, отражающего как раз процесс их развития (~ «перманентного распада» – см. выше о распаде праязыка, а также – примечание 6. Такое понимание обеспечивает принципиальную возможность использования схемы «родословного древа» языков в качестве опорной для установления упомянутых выше «узловых точек» уральской языковой предыстории. Признание этой возможности придаёт смысл и попыткам усовершенствования самой схемы. Наиболее удачными из сделанных до сих пор такого рода попыток можно признать схемы П. Хайду [HAJDÚ 1976: 39] (рис. 2) и Е. А. Хелимского [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 25] (рис. 3). Предлагаемая ниже схема (рис. 5) отличается от вышеупомянутых тем, что на ней я попытался показать, во-первых, характер тех или иных праязыковых общностей, особо выделяя надёжно реконструируемые праязыки, во-вторых, показать относительное время существования этих праязыков как относительно единых (сплошные линии) и как более аморфных общностей разных языков и

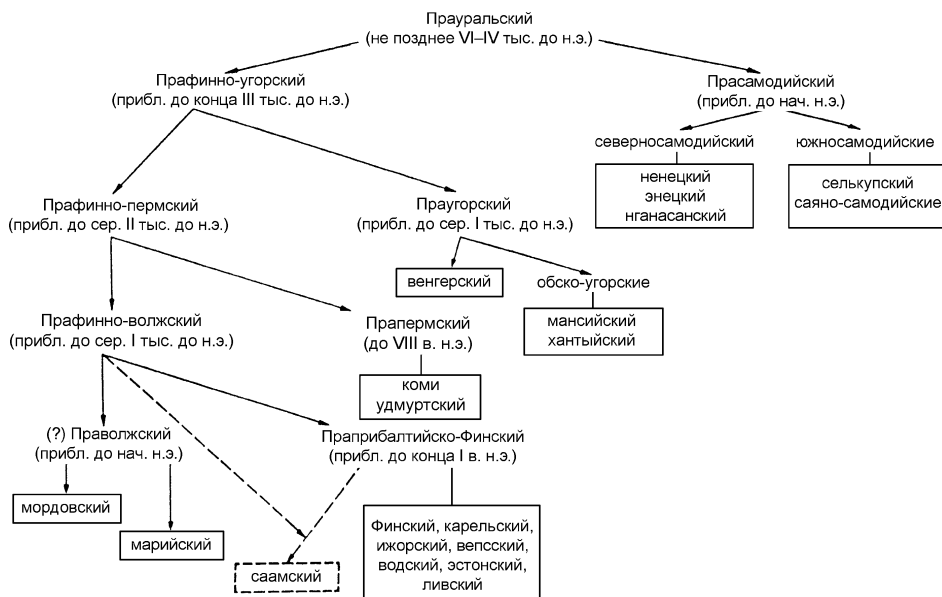


Рис. 2. Распад уральского праязыка (по Хайду)

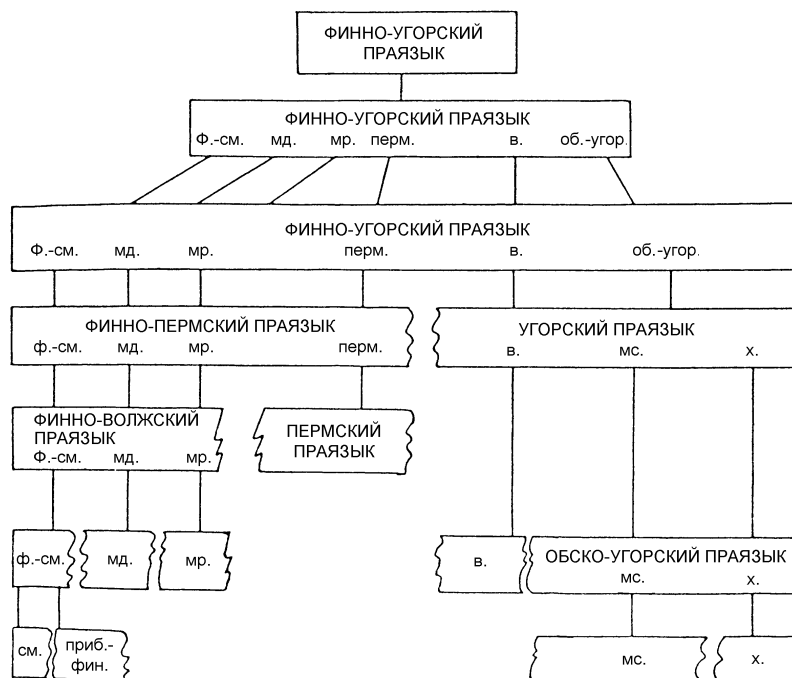


Рис. 3. Распад уральского праязыка (по Хелимскому)

диалектов, объединённых ареально-генетическими связями (прерывистые линии); в-третьих, на предлагаемой схеме различаются два вида языкового развития: «скачок», когда можно предполагать относительно быстрое выделение «дочернего» праязыка из «материнского» массива, связанный с какими-то резкими социальными сдвигами, разрывом связей между выделяющейся и «материнской» общностью, – и перетекание («языковой дрейф» в терминологии Э. Сэпира), постепенный переход из одного языкового состояния в другое, когда нет оснований предполагать имевшее место в прошлом резкое прерывание языкового развития, разрыв преемственности. Возможно, мои оценки характера того или иного развития являются в достаточной мере субъективными: проблема состоит в том, что такого рода попытки до сих пор не предпринимались. Более того, традиционно прауральская реконструкция строилась на базе прафинно-угорской, последняя, в свою очередь, – на базе праприбалтийско-финской. В своих оценках я следую в целом этой, традиционной точке зрения. Сделанные в последнее время первые шаги в реконструкции прауральской фонетической системы на базе равного учёта не только финно-пермских (читай: «прибалтийско-финских») данных, но и угорских и самодийских с отслеживанием возможной выводимости фонетических систем каждой группы уральских языков из реконструируемой праязыковой системы [JANHUNGEN 1981; SAMMALANTI 1988] – позволяют надеяться на возможность более близкого к реальному положению дел рассмотрения отношений между уральскими праязыками и оценки характера распада того или иного праязыка, однако сегодня приходится пока оставаться в рамках традиционного подхода.

Основное отличие предлагаемой здесь схемы от предшествующих – в предположении о разделении финно-волжской общности на три дочерних праязыка: прибалтийско-финско-саамский, прамордовский и прамарийский, без постулирования существования особой «волжской» (прамордовско-марийской) общности – и в оценке характера финно-волжской общности как весьма аморфной и недолго существовавшей. Не вдаваясь здесь в подробный анализ предлагаемых разными авторами аргументов в пользу былого существования финно-волжского и волжского праязыков – эта тема нуждается в отдельном специальном рассмотрении – укажу лишь, что в большинстве своём эти аргументы весьма сомнительны, либо представляют собой явные недоразумения (по поводу финно-волжской общности см. примечание 4; ещё более слабыми являются попытки обоснования особой генетической близости мордовских и маринских языков – см., например [КАЗАНЦЕВ 1980: 95–100], обзор и критику см. [ERDÉLYI 1969; ХЕЛИМСКИЙ 1982: 17–18]). Возможно, имеет смысл обсудить вопрос о более тесных связях прамордовского и праприбалтийско-финско-саамского в рамках финно-пермской общности – именно эти языки обнаруживают некоторые существенные структурные сходения, служащие обычно базой для постулирования былого существования «финно-волжского праязыка» (транслатив на \*-ksz; суффикс желательного (условного наклонения) \*-ks-; суффикс наречий \*-stz; деепричастие (старый партитив) на \*-ta и др. – см. обзор [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 15–16]). В принципе, однако, попарные связи языков в це-

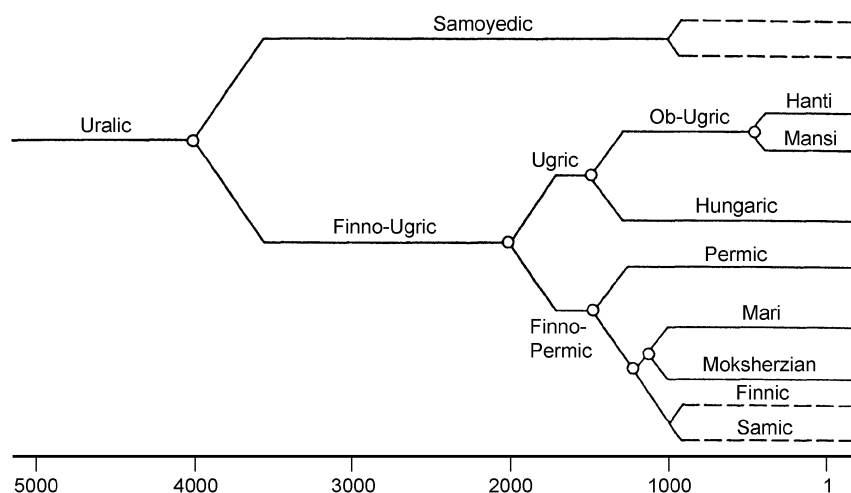


Рис. 4 Соотношение между уральскими языками (по Таагепера)

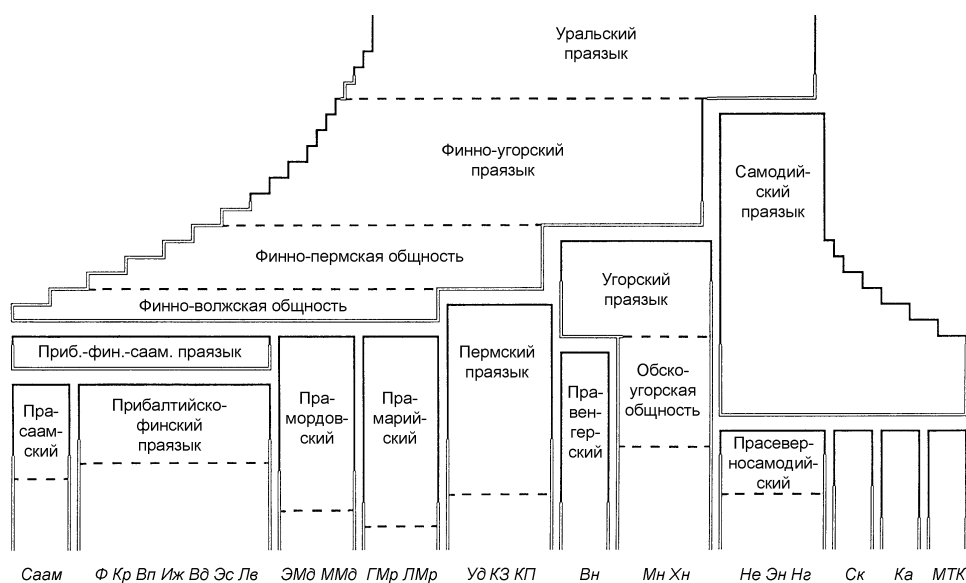


Рис. 5. Соотношение между уральскими языками

почке «саамские – прибалтийско-финские – мордовские – марийские – пермские» следует, по-видимому, всё-таки объяснять ареально-генетическими связями между парами соседствующих диалектов/языков финно-пермской общности и последующим развитием этих языков в контакте друг с другом в рамках балтийско-скандинавского и поволжско-приуральского языковых ареалов.

В рассмотрении членения самодийской языковой общности я следую за Е. А. Хелимским, в работах которого чётко обосновано отсутствие оснований для выделения особых «южносамодийской» (праселькупско-камасинско-маторской) и «саяно-самодийской» (пракамасинско-маторской) общностей [ХЕЛИМСКИЙ 1982: 39–45].

Предварительный анализ схемы на рис. 4, равно как и схем на рис. 2, 3, 4, позволяет определить ключевые моменты уральской предыстории. Ими, по-видимому, являются распад уральского праязыкового единства (отрыв раннего самодийского праязыка от прауральского массива), распад прафинно-угорского единства (начало самостоятельного развития праугорского), период существования финно-пермской и финно-волжской общностей, связанный, очевидно, с расширением праязыкового ареала и сдвигами в социальном и экономическом развитии, приведшими к почти единовременному (с разрывом, возможно, не более 500–800 лет) началу самостоятельного развития прапермской, прамарийской, прамордовской, раннеприбалтийско-финской (прибалтийско-финско-саамской) общностей.

Я сознательно отказался от проставления на схеме датировок распада праязыков: о проблемах абсолютного датирования древних языковых процессов, хотя и попытался отразить на ней относительное время существования того или иного праязыкового организма.

### 3. УРАЛЬСКАЯ, ФИННО-УГОРСКАЯ, САМОДИЙСКАЯ ПРАРОДИНЫ

Опорным пунктом исследования уральской предыстории является вопрос о месте и времени уральской прародины: отсюда можно как восстанавливать последующую историю уральцев вплоть до времени формирования отдельных групп уральских языков, так и продолжать историческую ретроспективу в поисках более древних корней, в плане установления более древних ареальных и генетических связей уральских языков.

Говоря о времени распада уральского и финно-угорского праязыков (то есть – о времени, для которого можно в первую очередь попытаться определить уральскую или финно-угорскую прародину), – необходимо иметь в виду, что речь здесь едва ли может идти о некоей временной точке, о более или менее коротком периоде. Как следует из вышеизложенного, развитие любого языка состоит в постоянном противоборстве консолидирующих и дезинтегративных тенденций, а окончательный распад праязыка должен был быть связан с какими-то социальными процессами, восстановить (моделировать) которые можно лишь в ходе комплексного исторического исследования. Анализ лингвистического материала должен, таким образом, дать некоторые хронологические пределы, вынесение за рамки которых распада праязыковой общности противоречит языковым фактам. Дальнейшее же уточнение датировок древних этноязыковых процессов должно осуществляться в ходе синтеза данных языкозна-

ния и других дисциплин, прежде всего тех, которые позволяют восстанавливать такие процессы и относительно точно локализовывать их во времени и пространстве – археологии и палеоантропологии.<sup>8</sup>

В сравительно-историческом языкознании время распада того или иного праязыка определяется несколькими методами. Во-первых – это общая оценка времени, необходимого, по мнению того или иного исследователя, для возникновения и закрепления предполагаемых для последующих стадий праязыкового развития инноваций. Несмотря на субъективный характер таких оценок, они довольно часто применяются на практике, прежде всего потому, что нередко это – единственный возможный способ хотя бы приблизительно датировать древние языковые процессы.

Во-вторых, для построения относительной, а в случае наличия древних письменных памятников на каком-либо из привлекаемых языков – и абсолютной хронологии решающее значение имеют выявляемые в исследуемых языках пласты заимствованной лексики. В уралистике определяющими в этом смысле являются данные об индоевропейских (индо-иранских, иранских, тохарских, балтских, германских, славянских) заимствованиях в уральских языках: их облик и распространение позволяют, в принципе, судить о том, из какого конкретно индоевропейского языка-источника те или иные слова заимствовались в уральские языки в тот или иной период их предыстории. При этом предполагается, что время существования индоевропейского языка-источника можно определить с достаточной достоверностью, так как индоевропейская языковая история прослеживается по письменным памятникам в среднем на 2–3 тысячи лет глубже, чем уральская. Впрочем, проблемы остаются и здесь, особенно когда речь идёт о древнейших этапах предыстории; показателен в этом плане пассаж из классической работы Д. Дечи: «в финно-угорском языке-основе обнаружены заимствования, которые можно объяснять лишь как праиндо-иранские. Из этого следует, что распад финно-угорского языка-основы имел место, прежде всего, после распада праиндоевропейского и после начала самостоятельного развития праиндо-иранского. С известной осторожностью принимается, что индоевропейский праязык существовал до 3-го, в крайнем случае – до конца 4-го тыс. до н.э.; тогда распад прафинно-угорского (судя по индо-иранским заимствованиям в нём) относится как минимум на 500 лет

<sup>8</sup> Следует, впрочем, подчеркнуть, что реальным образом вопрос о времени распада уральского, финно-угорского и т. д. праязыков критически не рассматривался, пожалуй, с начала века – за исключением некоторых частных, хотя и интересных, но не получивших общего признания попыток (как, например [KORHONEN 1976] – и мне остаётся только процитировать высказывание двадцатилетней давности: «... хронологию, приведённую в схеме ..., следует считать лишь ориентировочной... По мере развёртывания дальнейших исследований даже в эти приблизительные данные могут быть внесены поправки... По соображениям, основывающихся на праисторических (историко-экономических, исторических), а также на общелингвистических исторических разысканиях, уже в наше время кажется вероятным, что упомянутые периоды нужно относить к более отдалённым временам, чем те, которые указаны выше. Однако до завершения новейших научных разысканий мы считаем более целесообразным придерживаться точки зрения наиболее принятой в наше время и достаточно обоснованной» [ГуЯ 1974: 38–39]).

позже, то есть – около 2500 г. до н.э. [DECSY 1965: 154–156]<sup>9</sup> Поскольку время предполагаемого распада праиндоевропейского языка здесь – сугубо оценочное, равно как и срок в 500 лет, потребный для сложения специально индоиранских форм и их замствования в прафинно-угорский, приведённая дата распада прафинно-угорского может быть безболезненно приближена к нашему времени по крайней мере ещё на полтысячелетия или отодвинута в древность по крайней мере на тысячу лет. Естественно, чем ближе к современности, тем возможностей для датирования праязыковых процессов больше, однако проблемы остаются те же, к тому же дело осложняется упомянутой выше за-висимостью выводов лингвистов от их представлений о древней этноязыковой ситуации в том или ином регионе. Характернейший пример – предпринятая М. Корхоненом попытка удревнить время распада так называемых финно-пермского и финно-волжского праязыков по крайней мере на полтысячелетия, основанная, во-первых, на том обстоятельстве, что древнейшие следы земледелия в районах предполагаемого обитания носителей финно-пермского «праязыка» по современным археологическим данным можно датировать рубежом III–II тыс. до н.э., и, во-вторых, на весьма правдоподобном предположении о том, что источником древнейших балтских заимствований в финно-волжских языках могли быть языки создателей археологических культур боевых топоров и шнуровой керамики первой половины II тыс. до н.э.<sup>10</sup> [KORHONEN 1976: 6, 11–14].

<sup>9</sup> «Für die finnisch-ugrische Grundsprache wurden nämlich Lehnwörter nachgewiesen, die sich nur als Entlehnungen aus dem Indoiranischen erklären lassen. Daraus folgert, dass die Auflösung der finnisch-ugrischen Grundsprache sich erst nach der Auflösung des Indogermanischen und nach dem Beginn des Sonderlebens des Indoiranischen vollzogen haben kann. Nimmt man mit Thieme an, die indogermanische Grundsprache gehöre schätzungsweise ins 3., höchstens ins Ende des 4. Jahrtausends v. Chr., dann muss man die Aufspaltung der finnisch-ugrischen Grundsprache (eben wegen ihrer indoiranischen Lehnwörter) um wenigstens (!) 500 Jahre später, also etwa in die Zeit um 2500 v. Chr. ansetzen» [DECSY 1965: 153–155]. Нельзя, впрочем, не отметить, что в финно-угорском праязыке фиксируются заимствования, которые могут рассматриваться как отражающие уже не ранний праиндо-иранский, а поздний праиндо-иранский, а возможно – просто собственно *индоарийский* язык-источник (прежде всего – ПФУ \**sata* «сто» – ср. др.-инд. *sata-* «сто» при ав. *satəm* «тж» < ПИЕ \**k'mtom* «сто» [RÉDEI 1986: 47]), а отражение арийского \**a* < ПИЕ \**e*/*\*o* как \**e*/*\*o* в финно-угорских языках, рассматриваемое обычно как свидетельство архаичности арийских заимствований прафинно-угорской эпохи, характерно и для некоторых заимствований финно-пермского и финно-волжского времени (при этом – явно поздних, например, обозначений некоторых скотоводческих и земледельческих реалий: Ф.-волж. *orase* «боров» – ср. др.-инд. *varaha-* «кабан»; ф.-перм. *jewa* «хлеб, зерно» – ср. др.-инд. *yava-* «тж» и др. [RÉDEI 1986: 50–51, 54–55]). Таким образом, данные об индоиранских заимствованиях в финно-угорских языках не могут служить безусловным основанием для однозначных датировок праязыковых процессов.

<sup>10</sup> Думается, попытка М. Корхонена удревнить датировку первых контактов финно-угорских и балтских языков обоснована, однако он едва ли прав, развивая свои идеи в русле традиционной точки зрения о привязке этих контактов исключительно к районам Прибалтики: прибалтийская культура боевых топоров была не единственной и не самой первой из комплекса близкородственных культур шнуровой керамики, для носителей которых можно предполагать ранние контакты с финно-угорским населением лесной зоны Восточной Европы. Древнейшие балтские (или балтославянские) заимствования в европейских финно-угорских языках могут и скорее всего должны восходить и к языкам создателей фатьяновской и балановской культур со шнуровой керамикой и «боевыми топорами» (новейший обзор хронологии и происхождения см. [KRAINOV 1992]), и эти контакты следует, таким образом, локализовать в районах Верхнего и Среднего Поволжья.

Ещё один способ абсолютного датирования древних языковых процессов – глоттохронология, предложенная М. Сводешем (см.: [СВОДЕШ 1960]) и довольно давно применяемая в уралистике (см., например: [RAUN 1956; ХЕЛИМСКИЙ 1982: 11–14]). Несмотря на уже солидный «возраст» этого метода и энтузиазм его сторонников, для большинства лингвистов и историков существование некоей «мистической» силы, заставляющей определённый процент базовой лексики языка в течение определённого периода систематически заменяться новыми словами, остаётся весьма проблематичным.<sup>11</sup> По-видимому, глоттохронология всё-таки не может быть признана надёжным методом абсолютного датирования (особенно – событий древнейшей истории): попытки её усовершенствования приводят к выводу о необходимости устранения заимствований из «диагностических списков» слов [СТАРОСТИН 1989: 10]. Тем самым *de facto* ненадёжность метода признаётся самими его разработчиками: заведомо нельзя быть уверенным в том, что *все* заимствования из списка устранены, устранить можно лишь заимствования из известных нам языков, но этого нельзя сделать с заимствованиями из неизвестных мёртвых языков, каковых в каждом отдельном случае может быть сколь угодно много. В то же время, глоттохронологические подсчёты нередко дают дату, совпадающую с теми, которые предполагаются на основании других методов. В этом случае они могут рассматриваться как допустимый способ дополнительной аргументации той или иной точки зрения, не более того, – кажется, именно такой подход характерен для недавней интересной попытки применения глоттохронологии в уралистике, результаты которой с моими комментариями см. на рис. 4 [ТААГЕПЕРА 1994: 162–165]. С другой стороны, результаты лексикостатистических подсчётов могут быть весьма полезны для демонстрации степени расхождения языков («лингвистических дистанций» между языками по терминологии Р. Таагепера), причём не обязательно на схеме типа «родословного древа» – дабы избежать иллюзии историзма, иллюзии диахронической значимости этих результатов (см. весьма удачные схемы: [ТААГЕПЕРА 1994: 166]).

Наконец, восстанавливаемая праязыковая лексика позволяет представить в общих чертах облик материальной культуры носителей праязыка. При соотнесении этих данных с данными археологии относительно района, где в самом общем смысле можно предполагать локализацию уральской прародины (для времени распада уральского и финно-угорского праязыка таким районом следует считать субарктическую и лесную зоны Евразии – такая формулировка может, по-видимому, считаться общепринятой), можно сделать самые общие выводы о принадлежности реконструируемой по языковым данным материальной культуры уральского пранарода к той или иной археологической эпохе (см. ниже).

<sup>11</sup> Здесь я почти процитировал слова А. Б. Долгопольского, сказанные во время оживлённой дискуссии по поводу надёжности глоттохронологии на конференции «Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока – 2» в Москве в 1989 году после выступления С. А. Старостина.



Наиболее показательно здесь отсутствие в прауральском и даже прафинно-угорском лексиконе терминов, свидетельствующих о знакомстве с земледелием и скотоводством (попытки доказать наличие таковых были характерны для работ начала века, см., например [SETALA 1926/ 132–135]): ф.-перм. *\*jewā* «хлеб (в зерне), зерно» и ПСам *\*jaэ* «мука» являются независимыми заимствованиями из иранских языков [RÉDEI 1986: 50–51]; ПФУ *\*santz* «вид злака» [UEW: 496–497] обозначало любое (дикорастущее) зерновое растение и – скорее – его зёрна, используемые в пищу древними собирателями [ХАЙДУ 1985: 184–185]<sup>12</sup>; параллель венг. *kenyér* «хлеб (Brot)» – удм. *kenir* «крупа» указывает, по-видимому, не на прафинно-угорский корень, а на заимствование из пермского в древне-венгерский [MSzFE: 351–352]; термины для «муки» (ПФУ *\*pusnz* / *\*pucnz* [UEW: 408–409]<sup>13</sup>) и «каши» (ПФУ *\*rekkz* / *\*rokka* [UEW: 421, 425]) не указывают не только на земледелие, но и на использование в пищу именно зерна (сушёные ягоды, икра, специально переработанные мясо, рыба и т. д.) [ХАЙДУ 1985: 185]. Некоторую загадку представляет собой прафинно-угорское слово, обозначающее «овцу» (ПФУ *\*uce*) – однако на фоне полного отсутствия каких-либо других терминов скотоводства в реконструируемой лексике финно-угорского праязыка его обычно считают скорее свидетельством о знакомстве прафинно-угров «с каким-то похожим на овцу (дикий ? – В. Н.) животным» [UEW: 541].

Реконструированная прауральская и прафинно-угорская лексика не даёт оснований предполагать знакомства носителей этих праязыков с металлургией, а скорее всего – и знакомства с металлами вообще. Некоторые названия металлов в финно-угорских языках близки: слова для «золота» (удм., коми *zarni* и т. д.; в обско-угорских языках – хант. (Вах) *lornэ* и т. д. – «медь») и «железа»

<sup>12</sup> П. Хайду абсолютно прав, подчёркивая, что ПФУ *\*santz* обозначало именно крупу – или зерно как *вид пицци*, а не служило специальным названием какого-то злака (хотя бы и дикорастущего): от слов, служивших основой для реконструкции данного ПФУ корня (мар. (Г) *sadaŋp*, (ЛВ) *sədaŋ* «пшеница» – коми *sobdi*, (язьв.) *sugdi* «пшеница» – хант. (Вах) *lant*, (Вас.) *jant*, (Дем.) *tant*, (Обд.) *lant* «хлеб в зерне (рожь, ячмень, овёс); крупа» – венг. *ed* «хлеб в зерне») нельзя отделять пермское слово для «супа»: удм. *sid* «суп», коми *sid* «тж», ср. также коми *sides* «крупа» < \*«то, чем заправляют суп» [КЭСК: 325]. Для данных пермских слов восстанавливается ППерм. праформа *\*sud* < *\*sunt* – которая без каких-либо существенных проблем возводится к ПФУ *\*santz* «зерно, крупа, блюдо из крупы (суп)» (соответствие ППерм. *\*u* – ПФУ *\*a* может объясняться различным развитием инлаутного вокализма в прапермском в суффиксированной и бессуффиксной формах слова). К. Редени ошибается, считая данное сравнение неправомерным: его ссылка на то, что коми *sid* и т. д. связано с фин. *hutti* «заваруха (кашица из муки)» и восходит к ф.-перм. *\*suŋtэ* «густая похлёбка, суп» (с заднеязычным вокализмом, что, видимо, и не даёт возможности связать этот корень с ПФУ *\*santz*) – не может быть принят как аргумент, так как фонетически пермские слова несопоставимы с фин. *hutti* (ППерм. *\*-d* < *\*-nt-*), а собственно пермский материал не исключает возможности возводить ППерм. *\*sud* «суп» к финно-угорскому корню с переднеязычным вокализмом.

<sup>13</sup> Думается, однако, наличие дериватов этого корня лишь в столь территориально близких и исторически тесно контактировавших языках как пермские и мансийский (точнее – северные и западные мансийские диалекты), – при том, что речь идёт о культурном термине – даёт основания сомневаться в древнем, прафинно-угорском его происхождении. Во всяком случае, его не стоит использовать как самостоятельный аргумент в палеоисторических построениях.

(морд. *ksni*, удм. *kort*) и т. д. – но они представляют собой независимые заимствования из иранских языков, произошедшие уже после распада финно-угорского единства [RÉDEI 1986: 71, 82]. По-видимому, таково же происхождение слов (фин. *vaski* «медь, бронза», венг. *vas* «железо», нен. *jese* «железо, металл, деньги» и т. д.), привлекаемых обычно для прауральской реконструкции *\*waske* «металл; медь» [UEW: 560–561]: они, видимо, были заимствованы уже после распада уральской и финно-угорской общностей в отдельно существовавшие прибалтийско-финско-мордовский («финно-волжский»), пермский, угорский, самодийский праязыки из тохарского (пратохарского) – ср. тох. А *was*, В *yasa* «золото» (< ПИЕ *\*Hues-* «золото») [НАПОЛЬСКИХ 1989; НАПОЛЬСКИХ 1994] – см. также ниже.

Относительно ещё одного «прафинно-угорского» названия металла – *\*wolnz* «олово» (марийско-угорская параллель) [UEW: 581] следует, во-первых, заметить, что этимология эта небезупречна с чисто лингвистической точки зрения: по полному отсутствию рефлексов праязыкового *\*w-* (в позиции перед *\*o-*) в хантыйском, венгерском и диалектах мансийского (Пелым, Конда) языка она не имеет аналогов, при этом трудно отделить данный корень от названия этого металла в балто-славянских языках: др.-ц.-сл. *олово* «олово», лит. *alvas* «сви-нец» [ФАСМЕР III: 135]. Учитывая указанную выше неточность марийско-угорского сопоставления, логичнее допустить самостоятельное происхождение (балто-славянское или иное индоевропейское заимствование ?) марийского (Г) *βulnz*, (ЛВ) *βulno* «олово» и угорского *\*olzn* «олово» – тем более, что не исключено, что мы имеем здесь дело с очень древним миграционным культурным термином (см. [MOOR 1952: 78–79]). О заимствованном происхождении этого корня в угорских языках свидетельствует и то, что в них имеется и его вариант с протетическим *\*w-*: манс. *wolem* «свинец» [UEW: 899] – очевидно, результат повторного заимствования.

Большое значение в культурно-историческом плане может иметь этимология ПФУ *\*pata* «сосуд, глиняный горшок» [UEW: 358]: наличие такого термина как будто указывает на знакомство носителей финно-угорского праязыка с керамикой и, следовательно, позволяет привязать существование праязыка (по крайней мере – на его заключительной стадии) ко времени после начала археологического неолита в лесной зоне Евразии, наступившего не ранее рубежа V–VI тыс. до н.э. С другой стороны, знакомство с керамикой едва ли возможно предполагать для прауральской эпохи: ПФУ *\*pata* соответствует ПСам *\*pat-*, для которого восстанавливается значение «класть в сосуд», возможно – «варить» [JANHUNEN 1977: 118], эта параллель – наряду с юкагирской, юкаг. (Кол.) *pat* «варю (я)», *padum* «варит (он)» – даёт возможность восстанавливать для прауральского и праюкагино-уральского только глагольный корень *\*pat* «класть в сосуд, варить», но варка пищи возможна не только в керамических, а и в деревянных, плетёных и т. п. сосудах, следовательно, чёткого свидетельства о знакомстве с керамикой в прауральскую эпоху у нас нет (см. ещё [HALDÚ 1953: 72]). Важно, однако, то, что исконное значение «сосуд для варки пищи» можно, таким образом, предполагать и для ПФУ *\*pata*, если выводиться его из ПФУ

*\*pat-* «варить» > «сосуд для варки пищи»<sup>14</sup>, – что в принципе лишает определённости вывод о неолитическом времени существования даже прафинно-угорской общности [НАПОЛЬСКИХ 2989]. Дело осложняется ещё и тем, что и в данном случае – наряду с предложенной выше урало-юкагирской этимологией для ПФУ *\*pata* – можно предполагать, что мы имеем дело с древнейшим миграционным культурным термином: ср. ПДрав. *\*pata-la* «(глиняный) широкогорлый горшок» [BURROW, EMENEAU 1984: 349; Tyler 1968: 809] (см. также ниже), ПИЕ *\*ped* / *\*pod* «сосуд, (глиняный) горошок» [IEW: 790; UEW: 358], (?) ПТю *\*hadil* < *\*pat3-l3* «тж» [ТЕРЕНТЬЕВ 1983: 69].

Таким образом, реконструированный праязыковой лексический фонд не даёт оснований для того, чтобы разделить энтузиазм некоторых авторов относительно неолитического<sup>15</sup> характера культуры уральского пранарода (см., например, [MOÓR 1963]) – если подобное предположение ещё можно сделать, говоря о прафинно-угорском периоде, то время существования уральского праязыка должно быть, по-видимому, отнесено полностью в мезолитическую эпоху. Данный вывод, в принципе, согласуется с традиционной точкой зрения, согласно которой *распад* уральского праязыка имел место в VI тысячелетия до н.э. [ХАЙДУ 1985: 172–175; Гуя 1974: 38–39; DECSY 1965: 153–155] – эту дату следует только несколько удревнить, ограничив VI – концом V тыс. до н.э.

С учётом всего сказанного выше можно привести здесь традиционно принятые в уралистике – хотя и по-прежнему достаточно дискуссионные (см. также примечания 8, 10) – абсолютные даты: распад уральского праязыка можно датировать VI – концом V тыс. до н.э., финно-угорского – серединой III – рубежом III/II тыс. до н.э., угорский праязык по оценкам разных исследователей распался в конце II – во второй половине I тыс. до н.э., распад самодийского праязыка произошёл около рубежа эр, прибалтийско-финского – в первые века нашей эры, пермского – в конце I – начале II тыс. н.э. Период существования финно-пермской и финно-волжской общностей можно, таким образом, относить ко времени с рубежа III/II тыс. до н.э. до первой половины I тыс. до н.э. [ХАЙДУ 1985: 172–175; ХЕЛИМСКИЙ 1982: 8–10, 45; Гуя 1974: 38–39; DECSY 1965: 153–155; KORHONEN 1976; TAAGERPERA 1994].

Район уральской прародины традиционно определяется методом «лингвистической палеонтологии», использование которого в уралистике восходит ещё к работам второй половины XIX века [КЁППЕН 1886; DONNER 1936], и который состоит в том, что в реконструированном праязыковом словаре выделяется комплекс понятий (названия растений, животных, термины для особенностей климата, ландшафта и т. д.), позволяющих представить экологическую среду, в

<sup>14</sup> Замечательно, что ваховско-васюганские ханты и сегодня словом *put* (< ПФУ *\*pata*) называют не только чайник, котёл, но и, в частности, *берестяной* ковшик для варки клея [ЛУКИНА 1985: 241–242]. Не является ли дериватом рассматриваемого прауральского корня и сельк, *патчжа* «берестяная коробка, употребляемая в качестве посуды» (в записи Г. И. Пелих) [ПЕЛИХ 1972: 36] ?

<sup>15</sup> Следует оговориться, что здесь под словом «неолит» понимается период, выделяемый в археологии *Северной* Евразии – то есть, не время «неолитической революции», начала земледелия и скотоводства, как на юге, а последний период каменного века, характеризующийся наличием керамики и отсутствием металла (конец V – конец III тыс. до н.э.).

которой обитал пранарод; затем эта картина сопоставляется с имеющимися выводами палеобиогеографии относительно эпохи, к которой относится время существования праязыка (данные о климате, границах природных зон, ареалах распространения деревьев, обитания животных и т. д.), что позволяет определить район, в котором в данную эпоху мог сформироваться данный комплекс понятий.

Здесь следует подчеркнуть, что применение этого метода, во-первых, должно учитывать временную изменчивость ареалов биологических видов. Когда речь идёт конкретно об уральской прародине необходимо соотносить лингвистические данные с картиной, реконструируемой палеобиогеографией для атлантикума (VI–IV тыс. до н.э.), точнее – для начальной и средней его фазы, последний же период существования финно-угорского единства соотносим с первой третью суббореала (III – последние века I тыс. до н.э.).

Во-вторых, речь идёт о *системном* сравнении экологической картины, реконструируемой по праязыковой лексике и палеобиогеографической реконструкции: наличие, например, в праславянском слове со значениями «слон», «верблюд» входит в противоречие с картиной жизни средневропейских земледельцев и скотоводов, которая системно отражена в реконструируемой лексике праславянского языка, – необходимо иметь в виду возможность наличия и в прауральском слове подобных экзотических терминов.

В-третьих, важнейшим является то обстоятельство, что с помощью метода «лингвистической палеонтологии» выявляется не собственно территория прародины, а район, который можно назвать «праязыковым экологическим ареалом» – территорией, где одновременно обитали все, известные носителям праязыка виды растений и животных, которая отнюдь не обязательно совпадает с территорией прародины (см. рис. 6). Разрешение проблемы локализации прародины, таким образом, не исчерпывается определением праязыкового экологического ареала, а требует дальнейшего исследования с привлечением данных как лингвистики (внешние контакты праязыка, топонимика), так и археологии и физической антропологии.

История научных поисков прародины финно-угорских и уральских народов насчитывает уже полтора века. С самого начала наметились в общих чертах две противоположные точки зрения: согласно одной, истоки уральских языков следует искать в Азии, в Западной и Южной Сибири, рядом с древнейшими местами расселения народов алтайского круга (тюрки, монголы, тунгусо-маньчжуры) [CASTREN 1862], согласно другой – родина финно-угорских (проблема генезиса самодийцев сторонниками этой точки зрения либо игнорировалась, либо предполагалась изначальная принадлежность их языков к неизвестной группе с последующей ассимиляцией их финно-уграми) народов – Восточная Европа от Балтики до Урала, но не восточнее Уральских гор [AMINOFF 1873]. Вторая точка зрения получила развитие в трудах финских исследователей начала века [SETALA 1926] и долгое время превалировала в науке, став «классической»: финно-угорская прародина помещалась её сторонниками в Восточной Европе, преимущественно в районе среднего течения Волги и её

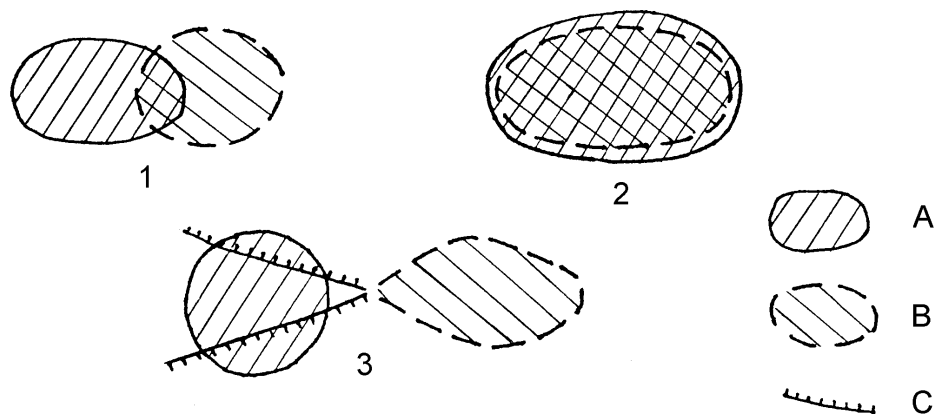


Рис. 6. Соотношение прародины и экологического ареала  
(А прародина; В языковой экологический ареал; С граница растений)

притоков. После второй мировой войны в работах ряда венгерских [SEBESTYÉN 1951; HALDÚ 1952; HALDÚ 1953; DECSY 1965] и финских [TOIVONEN 1952] лингвистов была обоснована более восточная в целом локализация финно-угорской прародины: на крайнем востоке лесной зоны Восточной Европы, между Средней Волгой и Уралом. Работы И. Шебештьен по названиям деревьев [SEBESTYÉN 1943] и рыб [SEBESTYÉN 1935] в уральских языках остаются и сегодня наиболее полными и ценными сводками этих материалов. Следует, однако, заметить, что в этих работах, равно как и в предшествующих, метод «лингвистической палеонтологии» применялся почти без учёта временной изменчивости границ ареалов биологических видов, реконструированная по языковым данным языковая экологическая модель накладывалась на современную карту природных зон. Данные палеобиогеографических реконструкций были впервые использованы в уралистике в работах Дь. Ласло [LÁSZLÓ 1961] (правда, в данном случае – совершенно некорректно, что привело автора к абсолютно ошибочным выводам; подробную критику этой работы см. в [HALDÚ 1964a; ХАЙДУ 1985: 151–155]) и П. Хайду [HALDÚ 1964b]. В работах последнего был сделан новый шаг в развитии наших взглядов на уральскую и финно-угорскую прародину: подчеркивая наличие в прауральском и прафинно-угорском словаре названий таёжных хвойных деревьев («ель», «пихта», «лиственница») и появление в прафинно-угорском словаре слова для самого холодостойкого широколиственного дерева, вяза и слов со значениями «пчела» и «мёд», он, используя новейшие для того времени результаты палинологических анализов (изучение древнего распространения растений по ископаемым остаткам пыльцы) (в основном – по работе М. И. Нейштадта [НЕЙШТАДТ 1957]), пришёл к выводу о необходимости локализовать уральскую прародину в зоне сибирской тёмнохвойной тайги, что для VI–IV тыс. до н.э. означало территорию в основном восточнее Урала: между бассейном Нижней и Средней Оби и

верхним течением Печоры. Для прафинно-угорского времени предполагался сдвиг в юго-западном направлении, в район Прикамья, где предки финно-угров могли познакомиться с вязом и медоносной пчелой (с последней – через посредство южных соседей – индоиранцев, из языка которых заимствованы слова «пчела» и «мёд» в прафинно-угорский [НАЛДУ 1964b; ХАЙДУ 1985: 155–160]).

Схема П. Хайду хорошо согласовывалась с выводами, сделанными российскими археологами как до [ТРЕТЬЯКОВ 1961; ЧЕРНЕЦОВ 1963], так и после её появления [ХАЛИКОВ 1967; БАДЕР 1972] – о связи древнейших этапов уральской предистории с археологическими культурами камско-уральского и урало-западносибирского круга. В дальнейшем эта схема была существенно дополнена в работах венгерского этнолога П. Вереша, который, используя новейшие работы российских палинологов (см., напр. [ХОТИНСКИЙ 1977], показывающие наличие липы и вяза в западносибирских лесах в атлантикуме (VI–III тыс. до н.э.), сделал вывод о возможности знакомства прафинно-угров с широколиственными породами деревьев и с медоносной пчелой непосредственно на территории сегодняшней Западной Сибири – без необходимости предполагать их выход в Европу [VERES 1971; VERES 1991]. Вопросы предистории и прародины самодийцев впервые детально разработаны на реальном научном уровне лишь в последние десятилетия в работах Е. А. Хелимского [ХЕЛИМСКИЙ 1983; ХЕЛИМСКИЙ 1989].

Ниже я в основном опираюсь на работы упомянутых здесь исследователей, хотя следует отметить, что время от времени разными авторами высказываются и иные точки зрения относительно локализации уральской и финно-угорской прародины (см., например, [LÁSZLÓ 1961; NÚÑEZ 1987; МАККАУ 1990; МЕЙНАНДЕР 1982]), как правило имеющие весьма слабое обоснование, вследствие чего не представляется целесообразным заниматься здесь их подробной критикой: достаточно сказать, что любая из этих гипотез оказывается абсолютно неспособной как-либо объяснить генезис самодийцев и факт генетического родства финно-угорских и самодийских языков – этот вопрос чаще всего просто игнорируется их авторами, подобное было простительно для работ конца прошлого и начала нашего века (см. выше), но едва ли такой подход может рассматриваться всерьёз сегодня.

При определении прауральского экологического ареала с помощью метода «лингвистической палеонтологии» существенное значение имеют следующие реконструируемые для уральского праязыка названия деревьев:

– ПУ *\*kose* «ель, Picea» – дериваты корня представлены практически во всех уральских языках [UEW: 222], о древности корня свидетельствуют параллели в тунгусо-маньчжурских языках: ПТМ *\*k'asi* «ель», которое можно считать уральским (ранне-прасамодийским) заимствованием, в монгольских: мо. *χusi* «кедр», возможно – того же происхождения, и в тюркских: ПТю *\*kaδu* «ель», являющееся, очевидно, заимствованием из прасамодийского [UEW: 222; ХЕЛИМСКИЙ 1983: 8–9; COLLINDER 1965: 142]. Ареал распространения ели в атлантикуме, как и в историческое время, был весьма широк, однако следует от-

метить, что в бореале (середина VIII–VII тыс. до н.э.) и в начале атлантикума отмечается значительное угнетение и даже исчезновение ели на территории центра европейской России (южная граница распространения в VIII – начале VI тыс. до н.э. по М. И. Нейштадту – линия, идущая от истоков Волги по водоразделу бассейнов Волги и Северной Двины [Нейштадт 1957: 230–231]); на пыльцевых диаграммах болот Восточной Прибалтики и центра европейской России ель начинает играть заметную роль только во второй половине атлантикума – то есть, в период когда уральская праязыковая общность уже перестала существовать, в то время как на Урале и в Западной Сибири пыльца ели присутствует в большом количестве и в отложениях раннего атлантикума [Хотинский 1977]. См. также ниже и рис. 7.

– ПУ *\*nulkz* «пихта, *Abies*» – дериваты имеются в марийском, пермских, обско-угорских, селькупском, камасинском языках. О значимости пихты как одного из основных деревьев, известных уральцам, свидетельствует, возможно, удм. *nules* «лес», образованное от этого же уральского корня [UEW: 327]; на древность корня указывает юкагирская параллель: юкаг. (Кол.) *nolut* «вид дерева» [НИКОЛАЕВА 1988: 84]. По данным М. И. Нейштадта вплоть до начала VI тыс. н.э. сибирская пихта полностью отсутствовала западнее Урала, её постепенное продвижение в Европу началось лишь с VI тыс. до н.э., одновременно с максимальным расцветом на Урале и в Западной Сибири; при этом в Восточной Европе ареал сибирской пихты достиг максимума (примерно до 42° вост. долг. на запад), по-видимому, лишь в позднейшее время; для эпохи же уральской и финно-угорской прародины вряд ли можно говорить о её распространении западнее верховьев Камы и Печоры [Нейштадт 1957: 222–223].

– ПУ *\*seksz* «кедр» (точнее – «сибирская кедровая сосна, *Pinus cembra sibirica*») – дериваты сохранились в пермских, обско-угорских, самодийских языках. На древность слова в уральской среде и исконное значение «керд» указывают сдвиг значения в удмуртском (на территории проживания удмуртов встречаются лишь искусственные посадки кедра): удм. *susi-pu* «можжевельник» и то обстоятельство, что это слово было, по-видимому, дважды заимствовано в тунгусо-маньчжурские языки (сибирская кедровая сосна неизвестна в Восточной Сибири, где в самом общем плане следует искать прародину тунгусо-маньчжурских народов): из раннего прасамодийского языка – ПТМ *\*suktu* «кедр» и из прасамодийского или праугорского – ПТМ *\*takti* «тж», а также – в тюркские – ПТю *\*tyt* «лиственница» [UEW: 445; ХЕЛИМСКИЙ 1983: 8–9]. На протяжении всего атлантического приода керд практически отсутствовал не только на северо-востоке Восточной Европы (за исключением незначительных следов пыльцы в верховьях Печоры), но и на Урале: основной областью его распространения была Западная Сибирь (включая бассейн Енисея и Алтай), а реально проникновение его на Урал и в Предуралье следует относить – самое раннее – к середине суббореала [Нейштадт 1957: 251–252] (см. также пыльцевые диаграммы в [Хотинский 1977: 68–87]). Находки неолитических (?) изделий из сибирского кедра на территории Финляндии [EUROPEUS 1929] могут свидетельствовать лишь о контактах между сибирскими и скандинавскими

племенами в неолите, но никак не о широком распространении кедра в Восточной Европе.

Данный комплекс слов однозначно свидетельствует о проживании носителей уральского и финно-угорского праязыков в зоне темнохвойной тайги западносибирского типа. Следует при этом заметить, что в реконструируемом прауральском словаре практически нет слов, обозначающих понятия, которые были бы совершенно нехарактерны для этой природной зоны.

На относительно северную локализацию прауральского экологического ареала в пределах зоны темнохвойной тайги указывает наличие в прауральском словаре ряда терминов для обозначения северного оленя:

– ПУ *\*kunta* «(дикий) северный олень» – саамско-мансийско-самодийское соответствие, имеющее параллели в монгольских (монг. *qanda-yai* «лось») и тунгусских языках) эвк. *kandaga* «лось»), эвн. *kanda* «домашний северный олень чукотской или корякской породы») [UEW: 206–207; COLLINDER 1965: 146];

– ПУ *\*nepgz* «телёнок северного оленя» – самско-самодийская параллель [UEW: 316], что наводит на мысль о возможности более позднего возникновения параллели в ходе вторичных контактов;

– ПУ *\*rosa* «северный олень/телёнок северного оленя» – саамско-марийско-обско-угорское сопоставление с нетривиальными параллелями в финском и камасинском языках. С данным корнем сопоставимы юкаг. (Кол.) *pieze* «лось» и ПТМ *\*bucen* «косуля» [UEW: 387–388];

– ПУ *\*sarta* «олень, (молодой) северный олень» – дериваты имеются в мордовских, марийском, обско-угорских, ненецком, селькупском языках. Опять-таки примечательны тюркские (шор. *sartak* «олень» и др. [RASANEN 1969: 405]) и монгольские (монг. *sarlai* «як») параллели [UEW: 464];

– ПУ *\*tewa* «лось или олень» – прибалтийско-финско-самодийская параллель, не без проблем [UEW: 522–523], однако ПСам *\*tez* «(домашний) северный олень» реконструируется абсолютно надёжно [JANHUNEN 1977: 155]. Повидимому, не следует отбрасывать старое сопоставление этого корня со словами и монгольских языков: ПТю *\*taba*, монг. *temegen* «верблюд» [COLLINDER 1965: 148; RASANEN 1969: 468] – как древнее слово для обозначения копытного животного. Возможно, к этому же корню имеет отношение и юкаг. (Кол.) *tolow*, (Т.) *talawη* «дикий олень».

Показательно также наличие в прауральском словаре названия для специфически северной (средне-севернотаёжной и тундровой) ягоды:

– ПУ *\*mura* «морозка, *Rubus chamaemorus*» с сохранившимися рефлексам в прибалтийско-финских, коми, обско-угорских и северно-самодийских языках. Любопытно наличие параллели в индоевропейских языках: др.-гр. *μоров* «ежевика», арм. *mor* «тж» [UEW: 287; COLLINDER 1965: 120]. Возможно, данные слова восходят к древнему ностратическому или миграционному евразийскому корню, но для нас важно, что для прауральского надёжно реконструируется значение «морозка». По-видимому, из самодийских языков (праязыка ?) заимствовано эвк. *morono* «морозка» [UEW: 287].



С другой стороны, следующие реконструируемые прауральские зоонимы, указывают скорее на области южной и средней тайги:

– ПУ *\*nukse* «соболь» – корень сохранился в прибалтийско-финских, пермских, угорских языках, причём в эстонском и венгерском – в Значении «куница», что естественно, так как на территориях проживания этих народов соболь неизвестен, самодийская параллель не очень надёжна: нен. (Т) *noxo* «песец», (Л) *noha* «куница» [UEW: 326], однако проблемы снимаются наличием прекрасного соответствия в юкагирском языке: юкаг. (Кол.) *noqsə*, (Т) *noχsoη* «соболь» [НИКОЛАЕВА 1988: 84]; соболь ещё в позднем плейстоцене распространился из Сибири на Урал [КУЗЬМИНА 1971: 108–111], в историческое время соболь был известен и в лесах Восточной Европы, куда, очевидно, проник с востока относительно поздно, так как является типичным обитателем сибирской тайги, особенно – кедровых лесов (примечателен сдвиг значения на севере, в ненецком);

– ПУ *\*piŋe* «рябчик» – с дериватами в прибалтийско-финских, саамских, мордовских, угорских, селькупском и камасинском языках. И вновь имеется параллель в тунгусо-маньчжурских языках: ПТМ *\*piŋz* (-kz) «рябчик» [UEW: 383; COLLINDER 1965: 151];

– ПУ *\*kuje* «змея» – дериваты имеются в прибалтийско-финских, мордовских, марийских, удмуртском, венгерском (в значении «водное насекомое» < \*«червь»»), селькупском языках [UEW: 154–155]; и вновь сдвиг значения в ненецком не случаен: змеи не живут далеко на севере (по А. Брэму – не севернее 67° с.ш.);

Таким образом, прауральский экологический ареал охватывал области средней и южной темнохвойной тайги западносибирского типа. Именно с этой экологической нишей следует связывать древнейшие этапы уральской предыстории. Поэтому принципиально важное значение имеет установленный по данным палинологических анализов факт эпохального сдвига области темнохвойной еловой тайги в Северной Евразии в голоцене: с центрально-западносибирского преимущественно района в бореале (в VII–VIII тыс. до н.э.) на Урал и север и центр Восточной Европы во второй половине суббореала (во второй половине II – первой половине I тыс. до н.э.) – м. м. рис. 7.

Исходя из приведённых выше данных о распространении отдельных пород деревьев и видов животных и принимая во внимание общую картину распространения темнохвойной тайги в голоцене (рис. 7, см. также [ХОТИНСКИЙ 1977: 159–164]), можно сделать вывод о том, что в первой половине и середине атлантикума западные границы прауральского экологического ареала проходили в основном по Уралу с возможным включением в него северного приуралья (район верхнего течения Печоры). На востоке пределом этого ареала был район оз. Байкал, верхнего течения Лены и Витима. Северная граница вероятно проходила по линии 65–68° с.ш. (учитывая сдвиг на север границы лес/тундра в условиях тёплого климата). Южную границу можно провести примерно по линии, соединяющей истоки Ангары, Новосибирское Приобье, нижнее течение Ишима и Тобола, Средний Урал.

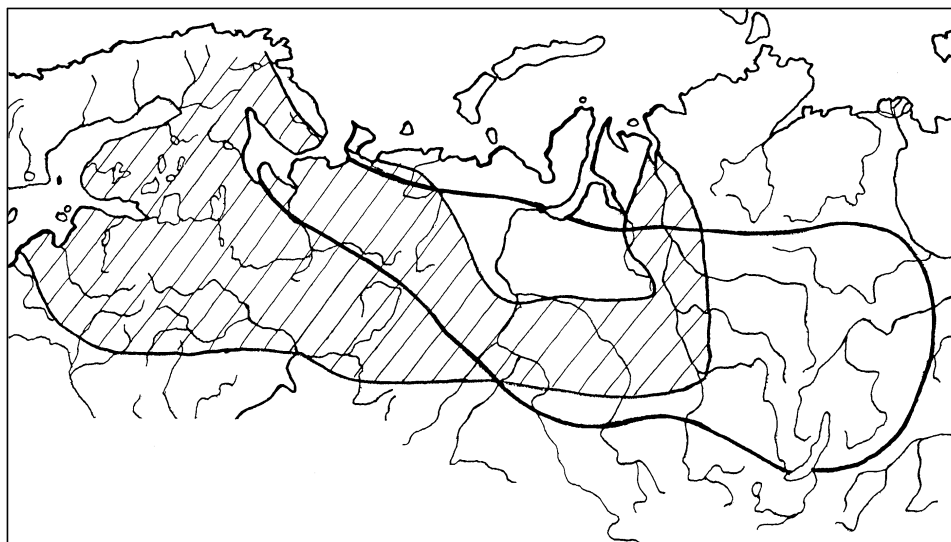


Рис. 7. Границы таежных деревьев

Дополнительную и очень важную информацию о прауральском экологическом ареале может принести анализ названий рыб в уральских языках: в отличие от растений и животных районы обитания отдельных видов рыб на протяжении голоцена практически не изменялись, либо изменялись очень мало, преимущественно в позднейшее время, под влиянием антропогенного фактора [ЦЕПКИН 1966; ЦЕПКИН 1981]. Кроме того, если ареалы распространения животных и растений связаны принадлежностью к определённой природной зоне, то ареалы распространения рыб более независимы от колебаний границ природных зон.

Для уральского праязыка восстанавливаются следующие названия рыб:

– ПУ \**oncз* «нельма, белорыбица, (*Stenodus leucichthys*)» – саамско – коми – обско-угорско – самодийская параллель с повсеместно сохранившимся исконным значением [UEW: 339]. Данная, весьма ценная промысловая рыба распространена в бассейнах рек Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Восточной Сибири включительно (сибирское название – «нельма») и в бассейне Волги и р. Урал («белорыбица»), причём в древности она достигала и верховьев этих рек [РЫБЫ 1969: 111; ЦЕПКИН 1981: 67] – см. рис. 8.

– ПУ \**tothe* «линь, *Tinca tinca*» – прибалтийско-финско – мордовско – марийско – угорско – селькупская параллель (в селькупском значении – «карась, *Carassius carassius*», во всех остальных – «линь») [UEW: 532]. Ареал обитания линя см. на рис. 8. В Сибири ареал обитания линя ограничен на востоке нижним течением Ангары, вообще, будучи теплолюбивой рыбой он в северных районах обозначенного ареала и в Сибири относительно редок в наши дни, но для тёплого атлантикума следует предполагать его более широкое распростра-

нение на севере и на востоке (возможно, с этим связан сдвиг значения в селькупском).

– ПФУ *\*sampe* «осётр, *Acipenser baeri/guldenstadti/sturio*» прибалтийско-финско-мансийская параллель [UEW: 462]. Данный корень трудно отделять от ПСам *\*sumpэ/\*sumpэ* «обух; спинка рыбы, ножа и т. д.» с производным энецко-ненецким ихтионимом *\*sumpэ-ηkэ* «муксун, *Coregonus muksun*/щокур, чир, *Coregonus nasus*» (буквально: \*«спинастый, широкоспинный»). По-видимому, в прафинно-угорском возник подобный описательный термин для осетра: ПФУ *\*sampe-η/-γ* – букв. «с широкой спиной, спинастый». Наличие ПСам *\*wekana* «осётр» [JANHUNEN 1977: 174] и параллели хант. (Дем., Вах, Вас.) *soχ*. (Низ.) *suχ* «осётр» – койб. (Паллас) *sigge-wulla* «осётр» [SEBESTYÉN 1935: 27] вкупе с предложенной этимологией прафинно-угорского названия осетра как описательного термина позволяют предполагать, что эта рыба была известна носителям не только финно-угорского и самодийского, но и уральского праязыков, – с последующей заменой исконного термина описательными вследствие табуизации, связанной, возможно, с особым отношением к осерту (см. также [NAPOLSKIKH 1993: 46–49]). Осётр до сих пор в изобилии имеется во всех сибирских реках, будучи, правда, редок в верховьях малых рек, текущих с гор, в частности – с Урала (сибирский осётр, *Acipenser baeri*), до недавнего прошлого был характерной рыбой бассейна Волги, встречаясь вплоть до верховий крупных рек (волжский осётр, *Acipenser guldenstadti*), а также обитал и в реках Центральной и Западной Европы бассейна Атлантического океана (*Acipenser sturio*). По-видимому, он никогда не встречался в Печоре, Северной Двине и других восточноевропейских реках бассейна Северного Ледовитого океана (см. рис. 8).

– ПУ *\*karz* «стерлядь, *Acipenser ruthenus*» – дериваты корня сохранены в обско-угорских и ненецком языках, имеется и удмуртская параллель (*karej* «стерлядь»), но только в словаре Палласа, что даёт основания сомневаться в её реальности [UEW: 139]. «Аргумент стерляди» позволяет исключить из прауральского экологического ареала бассейны рек Балтийского моря, Печоры, Мезени и сибирских рек восточнее Енисея (см. рис. 8). Наличие в прауральском ихтионимическом фонде названий двух осетровых рыб указывает на то, что этот фонд должен был сформироваться либо в бассейне Волги, либо в бассейнах Оби-Иртыша и Енисея.

– ПУ *\*korz* – прибалтийско-финско – саамско – коми – самодийская параллель, для которой традиционно принято восстанавливать значение «какой-то вид мелкой рыбы» [UEW: 187], следует, однако, заметить, что в саамском языке дериват этого корня (К. *kuor<sup>a</sup>*) обозначает «*сига* (*Coregonus lavaretus*) небольших размеров», а в самодийских языках (сельк. (С) *qor* «муксун, *Coregonus muksun*»; койб. *churru* – сиговая рыба (сиг – ?): «*Salmo coregonides*») – также разные виды сиговых (*Coregonidae*). Можно, по-видимому, предположить, что и в праязыке данным словом обозначали какую-то мелкую рыбу из семейства сиговых.

– ПУ *\*keyχ* (*\*kew*/(> фин. (Лённрут) *kiunki* «лосось-самец, заходящий осенью в реки», *kiunki* «толстый лосось, наиболее вкусный осенью, когда он имеет блестящее-белый цвет», из прибалтийско-финских, возможно, заимствовано

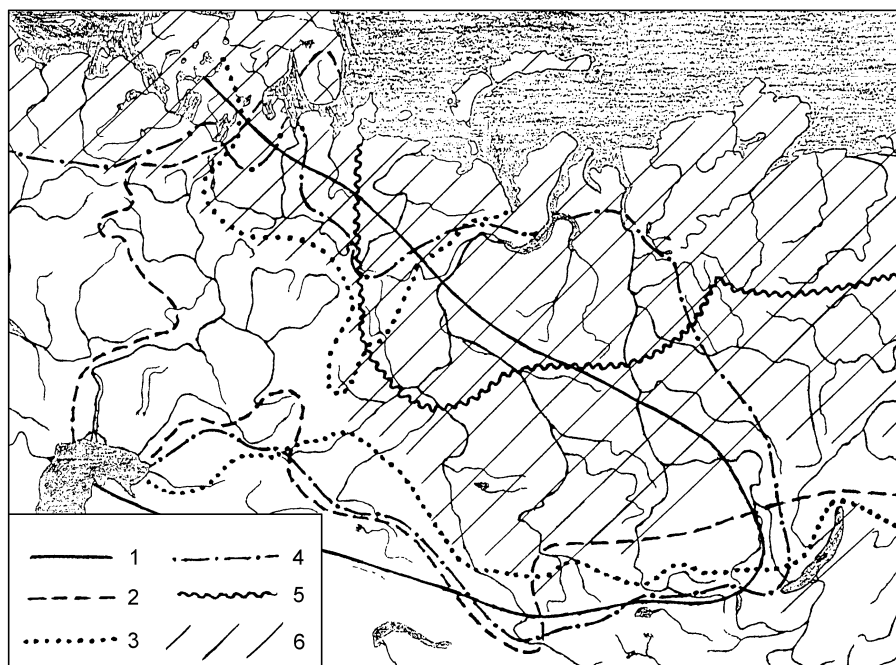


Рис. 8. Границы распространения разных рыб

латыш. *kenkis* «вид лосося, Hakenlachs» – саам. (Нуор.) *keiG* «маленький сиг, *oregonus lavaretus*» – хант. (С) (Паллас) *kegchull*, (Альквист) *keu-хул* «чир, щокур, *Coregonus nasus*» – нен. (Паллас) *chy-challe* «чир» [SEBESTYÉN 1935: 18]. Со поставлением не слишком надёжное: ненецкое слово зафиксировано только у Палласа, обычное ненецкое название чира – *idurca*; хантыйское слово может оказаться простым описательным термином «камень-рыба», смысл которого, впрочем, совершенно непонятен. Для палеоисторических построений данная этимология может иметь решающее значение: ареал обитания чира включает в себя помимо сибирских рек только бассейн Печоры (см. рис. 8) – в связи с этим дериваты данного корня прибрежили новые значения в прибалтийско-финских и саамском языках, но сохранились в хантыйском и (?) ненецком.

Возможность реконструкции для прауральского/прафино-угорского словаря названия хотя бы одной из сиговых рыб (выше приведены две возможные этимологии), о ПФУ *\*corz(-kz)* «пелядь, *Coregonus peled*») весьма важна, так как позволяет исключить из праязыкового экологического ареала бассейн Волги, где сиговые рыбы отсутствуют (см. область их распространения на рис. 8). Это обстоятельство, в то же время, делает весьма маловероятной возможность сохранения следов древних названий сиговых рыб в финно-пермских языках. На сибирско-уральские истоки прауральского ихтионимического фонда может указывать также сопоставление:

– саам. (Н.) *duovve* «лосось с икрой» – сельк. *tiŋ* «таймень» – (?) кам. *t'ejj* «таймень» < ПУ *\*tuŋ(e)* «(?) таймень, Nucho taimen» [SEBESTYÉN 1951: 307]. Таймень, широко распространённый в Сибири, в Европе достаточно редок и известен лишь в бассейне Камы, Вятки и Средней Волги [РЫБЫ 1969: 108].

Следует отметить, что не удаётся реконструировать прауральские / прафинно-угорские названия для европейских рыб, неизвестных в Сибири, как, например, сома, *Siluris glanis* (ПФУ *\*saka* [UEW: 469] могло равным образом обозначать налима, *Lota lota*) или благородного лосося, сёмгу, *Salmo salar* (См. об этом подробнее [NAPOLSKIKH 1993: 41–45; HALDÚ 1988: 68–69]). С другой стороны, названия по крайней мере двух основных, самых заметных и специфических рыб бассейна Балтики – сёмги, *Salmo salar* и угря, *Anguilla anguilla* в прибалтийско-финских (фин. *lohi* «лосось», *ankerias* «угорь») и саамском (Н. *luossa* «лосось») языках заимствованы из балтских (ср. лит. *lasisa* «лосось», *unguryš* «угорь»), что должно рассматриваться как однозначное свидетельство позднего появления носителей финно-угорской речи в бассейнах рек Балтийского моря (см. ещё у [RAVILA 1949: 11], также – [NAPOLSKIKH 1993: 41–44]). Возможные реконструкции прауральских/прафинно-угорских названий для налима, язя, плотвы и некоторых других рыб малозначимы для палеоисторических построений, так как названные виды обитают практически повсеместно в Восточной Европе и Западной и Центральной Сибири.

Таким образом, реконструируемый для уральского праязыка набор названий рыб мог сформироваться у населения, обитавшего по берегам Оби, Иртыша, Енисея и их притоков, за исключением крайне северных частей бассейна и горных районов, где эти реки берут начало (см. также о возможностях древнего рыболовства в этом регионе [NAPOLSKIKH 1993: 52–56]).

Можно, таким образом, сделать вывод о том, что метод лингвистической палеонтологии позволяет определить прауральский экологический ареал как территорию, ограниченную на западе Уральским хребтом, на севере – примерно Полярным кругом, на востоке – районом нижнего течения Ангары и Подкаменной Тунгузки и верхнего и среднего течения Енисея, на юге – примерно современной южной границей западносибирской тайги от северных предгорий Саян и Алтая до среднего течения Тобола и Среднего Урала включительно (см. рис. 9).

Помимо метода лингвистической палеонтологии для определения прародины важное значение могут иметь другие языковые данные, прежде всего в этой связи принято упоминать данные топонимики. Следует, однако, с сожалением констатировать, что анализ топонимических материалов приносит надёжные результаты лишь относительно достаточно поздних периодов. В частности, в уралистике разработаны вопросы происхождения дорусского пласта в топонимике севера Европейской России: можно говорить о примерных границах былого расселения пермян, марийцев, мордвы, мери, прибалтийских финнов и саамов [VASMER 1934–1936; МАТВЕЕВ 1964а; МАТВЕЕВ 1979; МУЛЛОНЕН 1994; и др.], однако хронологически эти разработки не ведут нас дальше 1–2 тысячелетий и, следовательно, не могут быть полезны при рассмотрении проб-

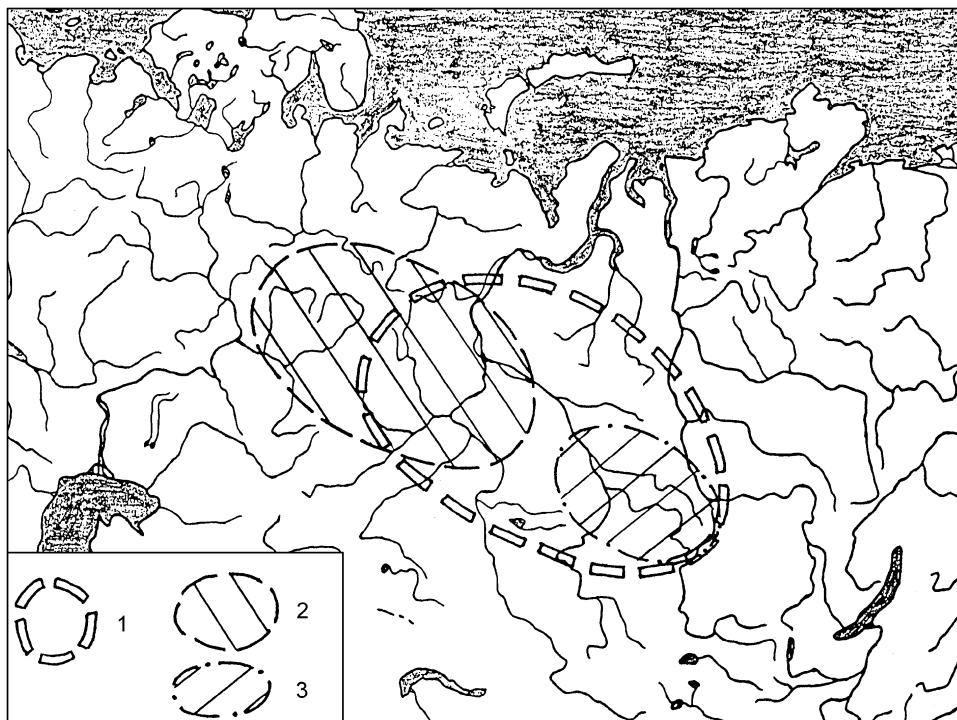


Рис. 9. Уральская прародина  
(1. Уральская прародина; 2. Финно-угорская прародина; 3. Прародина самодийцев)

лемы уральской прародины. Пожалуй, единственным ценным для нашей темы результатом этих блестящих исследований является отрицательный, а именно – вывод о том, что топонимические данные не дают оснований говорить о былом присутствии в Восточной Европе (пра) самодийского и (пра) угорского населения [МАТВЕЕВ 1964б; МАТВЕЕВ 1968] – за исключением наличия западных групп манси в Приуралье (не далее Средней и Верхней Камы на западе), что, впрочем, известно и по данным письменных источников [МАТВЕЕВ 1982].<sup>16</sup>

Более полезны в нашем случае данные о внешних генетических и контактных (ареальных) связях уральского праязыка с другими языками.

<sup>16</sup> Мнение о былом широком расселении угров в лесах Восточной Европы (до р. Мезень) восходит – если не считать абсолютно ненаучного сочинения Д. П. Европеуса [ЕВРОПЕУС 1874] – к работам А. Каннисто [KANNISTO 1927a; KANNISTO 1927b], выводы и методики которого в данном случае, при всём уважении к нему, никак нельзя признать заслуживающими доверия. Ещё менее обоснованы попытки разных авторов этимологизировать некоторые гидронимы Русского Севера из самодийских языков (чаще всего – из современных селькупских диалектов !) – см., напр. [ДУЛЬЗОН 1961; БЕККЕР 1970]. Достаточный критический разбор этих построений см. в указанных в тексте работах А. К. Матвеева.

Прафинно-угорский экологический ареал должен быть определён для III тыс. до н.э., то есть для начала и первой трети суббореала, бывшей в палео-биогеографическом плане весьма сложной эпохой: в самом начале суббореала (примерно в начале III тыс. до н.э.) начинается сильное похолодание, сопровождавшееся общей деградацией лесов Сибири и Восточной Европы у их северных пределов и, в частности, угнетением широколиственных пород (липа, вяз) на севере Восточной Европы, на Урале и в юго-западной Сибири, где они распространились во время господства тёплого атлантического климата; происходит сдвиг границ тундры (леса и тёмнохвойной тайги) широколиственных лесов на юг и начинается вытеснение широколиственных деревьев из Сибири и, по-видимому, наступление тёмнохвойной тайги в Восточной Европе, хотя максимум её был достигнут позднее – в последней трети суббореала (начиная с середины II тыс. до н.э. – см. рис. 7). Второй подпериод суббореала, включающий в себя последние века III – первую половину II тыс. до н.э., характеризуется новым потеплением и повторным расцветом широколиственных лесов, правда, достаточно краковременным [ХОТИНСКИЙ 1977: 163–164].

Для прафинно-угорского словаря представляется возможным предполагать сохранение упомянутых выше старых названий деревьев (ели, пихты, кедра), К этим корням, по-видимому, следует присоединить ещё две этимологии:

– ПФУ *\*nakrз* «кедровый орех» – прибалтийско-финско – обско-угорская параллель, причём в прибалтийско-финских языках дериваты этого корня имеют значение «репа» (в финском, эстонском) и «картофель» (в ливском *ta-na'grэз* – буквально «земляной *na'grэз*») – семантический переход вполне естественный [UEW: 298]. Данная этимология важна в том смысле, что она указывает на знакомство носителей финно-угорского праязыка именно с живым деревом, а не просто с древесиной кедра как материалом (см. выше о неолитических изделиях из Финляндии).

– ПФУ *\*naпз* «лиственница, *Larix*» – коми – обско-угорская параллель [UEW: 302]. Имеется и прасамодийское название для лиственницы: *\*tojma* [JANHUNEN 1977: 164]. В атлантикуме и суббореале лиственницы почти не было западнее Урала, на Урале и в Зауралье она встречалась (при этом в последниковое время и в бореале – примерно в IX–VII тыс. до н.э. – именно Урал был основным центром её распространения), на севере и востоке Западной Сибири её было больше – в Восточной Сибири [Нейштадт 1957: 240; Хотинский 1977]. Возможно, именно отмечаемое палеоботаниками тяготение лиственницы в голоцене с одной стороны, к Уралу (в более раннее время), а с другой – к Восточной Сибири (позднее) и объясняет различные названия этого дерева в финно-угорском и самодийском праязыках.

Помимо названий хвойных деревьев, известных ещё носителям уральского праязыка, для прафинно-угорского уровня можно предполагать знакомство с широколиственными породами, на что указывают этимологии:

– ПФУ *\*sala* «вяз, *Ulmus*» с производными в прибалтийско-финских, мордовских, марийском, венгерском языках [UEW: 458]. В атлантикуме вяз (наряду

с липой – см. ниже) был, видимо, достаточно широко распространён в Западной Сибири [Волкова, Левина 1982: 189] и тем более – на Урале, и даже в период раннего суббореального похолодания наиболее холодостойкие виды вяза сохранялись по крайней мере на Среднем Урале [Хотинский 1977: 164]. Любопытно, что ПФУ *\*sala* «вяз» имеет достаточно надёжную параллель в юкагирском языке: (К.) *sal* (Т.) *sal* «дерево» [Николаева 1988: 84], указывает ли это на наличие именно вяза на территории юкагино-уральской прародины – сказать трудно, однако древность данного корня в уральских языках очевидна (см. также ниже), что снимает возможные допущения об индоевропейском его происхождении (ср. лат. *salix* «ива» и т. д. [UEW: 458]).

– Ф.-перм. *\*nine* «лыко» > *\*nine-puwz* «(молодая) липа» – прибалтийско-финско – марийско – пермская параллель [UEW: 707]. Хотя в угорских языках дериватов этого корня не сохранилось, надо полагать, что носителям финно-угорского праязыка липа должна была быть известна, поскольку она вместе с вязом образовывала в атлантикуме западносибирскую периферию европейских широколиственных лесов [Волкова, Левина 1982: 189]. Возможно, впрочем, учитывая приведённую выше юкагирскую параллель прафино-угорскому названию вяза, имеющую значение «дерево вообще», что для носителей финно-угорского праязыка – древних обитателей темнохвойной тайги – различие между отдельными видами широколиственных деревьев не имело принципиального значения, и древним словом *\*sala* они обозначали и вяз, и липу – ср. манс. (Тав.) *sel't'* «лыко», *sel't'-pa* «липа», (П.) *sel't'* «лыко», (НКон.) *sal'i* «тж», (Со.) *salt* «тж», обычно не сравниваемое с ПФУ *\*sala* [UEW: 462].

Таким образом, прафинно-угорский экологический ареал должен был включать в себя территории распространения вяза и липы, которые в первой трети суббореала сходили на нет в Западной Сибири, но сохранялись на Среднем Урале. Надо полагать, что данные деревья должны были быть известны и носителям уральского праязыка во времена атлантического максимума широколиственных в Западной Сибири, но в самодийских языках их названия не сохранились вследствие того, что предки самодийцев с очень древнего времени не встречались в природе с этими деревьями.

Инновацией прафинно-угорского времени должны быть признаны названия для пчелы и мёда, заимствованные в финно-угорский праязык из какого-то индоевропейского языка:

– ПФУ *\*mekse* «пчела» с дериватами во всех финно-угорских языках кроме саамского и обско-угорских [UEW: 273] (хотя манс. (С) *mai'* (*maɣ*) «мёд», хант. (Дем.) *maɣ* «мёд», (Каз.) *taw* «тж» являются скорее всего остатками сложных слов типа хант. (Вах) *maɣ-woj* (где *woj* – «жир»), означавших изначально «пчелиный жир», – и восходят, таким образом, к ПФУ *\*mekse* «пчела», а не к сомнительному ПФУ *\*makz* «мёд» как в [UEW: 266]). Данное слово заимствовано скорее всего из какого-то раннего индоиранского языка – ср. др.-инд. *maksa* «муха, пчела», ав. *maχsi* «тж», дард. *mecek* «пчела» (< ПИЕ *\*meks-* «муха») [UEW: 273; Rédei 1986: 45].

– ПФУ *\*met(e)* «мёд» с сохранившимися производными во всех финно-



пермских языках и в венгерском [UEW: 273]. Данное слово может быть заимствованием из того же, раннего индоиранского языка-источника: ср. др.-инд. *madhu* «сладкий напиток, сома, мёд», ав. *тади* «вино» (< ПИЕ \**medhu* «мёд, медовуха») [UEW: 273; RÉDEI 1986: 45], возможно, однако, (прежде всего исходя из различий в семантике финно-угорских и индоиранских слов), что источником заимствования был тохарский, точнее – пратохарский язык: тох. В *mit* «мёд» [RÉDEI 1986: 45; НАПОЛЬСКИХ 1994: 37].

По-видимому, данные этимологии можно рассматривать как свидетельства о расширении финно-угорского праязыкового экологического ареала по сравнению с прауральским в южном и/или западном направлении: если бы пчела и мёд были известны ещё носителям уральского праязыка, непонятны были бы причины заимствования этих слов в прафинно-угорский. Подчеркну, что в данном случае принципиальное значение имеет не территориальный фактор – распространение в наши дни пчелы только западнее Урала (как было показано в работах П. Вереша [VERES 1971; VERES 1991], в древности, особенно в атлантикуме, да и в первой половине суббореала, когда ещё сохранялись на Урале и на юго-западе Западной Сибири широколиственные леса с таким медоносом как липа, вполне возможно предполагать наличие на данных территориях и пчелы), – а то обстоятельство, что данные термины *заимствованы* финно-уграми из индоевропейских языков, контакты с которыми в любом случае могли иметь место только в более южных и западных районах (см. также ниже).

По-видимому, в прафинно-угорское время сохранялись вышеприведённые старые термины для северного оленя, соболя, рябчика, змеи, морошки. Почти также обстоит дело с сохранностью прауральских названий рыб: с уверенностью можно предполагать сохранение в прафинно-угорском приведённых выше прауральских названий для нельмы, линя, осетра, стерляди, – хуже обстоит дело с сиговыми (реконструкция семантики не столь очевидна в прафинно-угорском) и тыйменем, однако набор сибирских рыб для прафинно-угорского уровня может быть дополнен следующим сравнением:

– ПФУ \**corz(-kz)* > ППерм. \**cerzg* «рыба» (коми *ceri* «рыба», удм. *corig* «тж») – манс. (Со., Кон.) *soreχ* «сырок, *Coregonus peled*» – хант. (Дем.) *sarəχ*, (Вах) *sarək*, (Каз.) *sorəχ* «сырок, *Coregonus peled*» [SEBESTYÉN 1935: 43], сюда же можно отнести и саам. (Н.) *coarran* «лосось, зимующий в реке, мигрирующий весной в море и возвращающийся осенью в реку», (Кар.) *soarran* «лосось с бледной кожей, без икры и молока» [SEBESTYÉN 1935: 13–14]. Несоответствие вокализма пермских слов саамскому и обско-угорским может объясняться особенностями развития пермского вокализма в словах со старой суффиксацией («пермский умяют»). Сдвиг значения в пермских языках напоминает развитие ПИЕ \**lak'-so-s* «лосось» > тох. В *laks* «рыба» [IEW: 653], на что указывала ещё И. Н. Шебештьен [SEBESTYÉN 1935: 44]; сырок, будучи одной из важнейших промысловых рыб Обско-Иртышского бассейна, своего рода «рыбным хлебом» для обских угров, рыбой, открывающей *вонзь* – весенний ход проходных рыб вверх по рекам Западной Сибири, полностью отсутствовал в бассейне Волги (в настоящее время пелядь искусственно акклиматизирована в

Волге) [БОРИСОВ 1923: 180–190; РЫБЫ 1969], и переход значения \*«сырок» = \*«основная рыба» > «рыба (вообще)» представляется вполне естественным, если предполагать продвижение носителей языка из Западной Сибири в бассейн Волги – Камы, – продвижение, которое должно было произойти ещё в прафинно-угорское или в непосредственно пост-прафинно-угорское время.

Следующие прафинно-угорские зоонимы, не имеющие, как будто, параллелей в самодийских языках, также могут быть полезны при определении прафинно-угорского экологического ареала:

ПФУ *\*tokta* «гагара» – финско-марийско-коми-обско-угорская параллель [UEW: 530]. Из всех видов гагар только чернозобая (*Gavia arctica*) достаточно распространена в Восточной Европе: севернее линии, соединяющей истоки Волги и Камы, с островными вкраплениями южнее, при этом в лесной зоне она достаточно редка, тяготея к крупным озёрам, устьям больших рек и морскому побережью, хотя в прошлом её ареал на юге мог быть значительно шире [ПТИЦЫ 1982: 259–264]. Прасамодийское название гагары *\*niэпа* [JANHUNEN 1977: 112] могло первоначально служить для обозначения какого-либо другого вида гагары.

ПФУ *\*maj-* «бобр», – данный корень, по-видимому, ещё в праязыке подвергся суффиксации и отражён в разных языках по-разному: формы прибалтийско-финских (фин. *majava*, эст. *majaja* «бобр») и, возможно, мордовских языков (Э *mijav* «тж») соответствуют ПФУ *\*maja* с суффиксацией на *\*-va/\*-ja*, формы саамских (Н. *maggiek* «бобр»), пермских (удм. *mij* «тж»), хантыйского (Вах *maу* «тж») языков возводятся к ПФУ *\*majka*. Думается, такое объяснение позволяет снять проблемы, приведшие автора UEW к отделению хантыйского слова от остальных финно-угорских: на самом деле несколько особняком стоят только прибалтийско-финские формы, содержащие дополнительную суффиксацию [UEW: 264, 697]. Бобр проник на Средний Урал и в южнотаёжную зону Западной Сибири ещё в позднем плейстоцене [АЛЕКСЕЕВА 1971: 22–24; КУЗЬМИНА 1971: 108–111], но вряд ли когда-либо был распространён далеко на севере – по крайней мере не только в Сибири, но и в Европе в историческое время северная граница его обитания проходила по линии 62–64° с.ш., и значимость этого обстоятельства учитывалась в исследованиях по уральской предистории [DECSY 1965: 214–216; НАJDÚ 1953: 17–20]. Необходимо учитывать и возможность реконструкции прасамодийского названия для бобра – *\*рисэ* [JANHUNEN 1977: 129], хотя такое значение сохранилось только в селькупском.

ПФУ *\*sije-le* «ёж» с сохранившимися дериватами в прибалтийско-финских, мордовских, марийских, мансийском, венгерском языках [UEW: 478]. В уральстике ещё с довоенного времени (см. [KALMAN 1938]) было принято использовать «аргумент еда» для доказательства европейской локализации финно-угорской прародины, между тем ёж известен как реликтовое животное в Западной Сибири (район р. Васюган) и в наши дни [КИРЮШИН, МАЛОЛЕТКО 1979: 118] – тем более следует предполагать его распространение там в эпоху господства более тёплого климата в атлантикуме. Таким образом, «аргумент ежа» как и «аргумент бобра» могут быть полезны лишь как указания на южно- или, по

крайней мере, среднетаёжную или более западную относительно прауральского локализацию прафинно-угорского экологического ареала, но не указывают однозначно на районы западнее Урала.

Таким образом, прафинно-угорский экологический ареал в III тыс. до н.э. по данным лингвистической палеонтологии должен быть определён как частично совпадающий с западной и южной (юго-западной) частями прауральского экологического ареала (средний Урал, Среднее и Южное Зауралье, юго-западный сектор Западной Сибири) с возможным включением в него районов к западу от Уральских гор – прежде всего бассейнов Камы, Вычегды и верховьев Печоры (см. рис. 9).

Как уже было указано выше, проблема прародин самодийцев по данным языка была в последние десятилетия разработана Е. А. Хелимским, на основании положений работ которого [ХЕЛИМСКИЙ 1983; ХЕЛИМСКИЙ 1989] основано дальнейшее изложение. Говоря о прасамодийском экологическом ареале следует заметить, что время обособленного развития самодийского праязыка было очень длительным: с конца V тыс. до н.э. до начала I тыс. н.э. Следует, однако, заметить, что в течение этого периода, во время которого происходили значительные климатические и биогеографические изменения, носители самодийского праязыка, по всей вероятности, не покидали своего исконно экологического окружения – зоны темнохвойной западносибирской тайги, на что указывает, во-первых, хорошая сохранность прауральских названий таёжных деревьев (см. ПСам *\*kaət* «ель», ПСам *\*titə(-jəŋ)* «кедр», ПСам *\*nulka* «пихта» [JANHUNEN 1977: 61, 112, 160] – см. соответствующие прауральские формы выше, практически во всех самодийских языках, во-вторых, то обстоятельство, что именно из прасамодийского могли быть заимствованы названия этих деревьев в тюркские и тунгусо-маньчжурские языки, в-третьих, наконец, появление в прасамодийском словаре «новых» слов для обозначения таёжных деревьев (ПСам *\*tojma* «лиственница» [JANHUNEN 1977: 164]) и животных (ПСам *\*ki* «соболь» – ср. ПФУ *\*keδ'e* «шкура, мех» [UEW: 142], из раннего ПСам *\*kil'* заимствовано ПТю *\*kil'/\*kis* «соболь» [ХЕЛИМСКИЙ 1989: 7]; ПСам *\*seŋka* «глухарь», ПСам *\*wiŋkənca* «росомаха» [JANHUNEN 1977: 69, 140, 176]). Особо значимы здесь прасамодийские названия для таких специфически западносибирских таёжных животных как белка-летяга (ПСам *\*pensəj*) и кедровка (ПСам *\*kasa*) [JANHUNEN 1977: 65, 121], а также – ПСам *\*pajtə* «косуля» и ПСам *\*muntə* «горный козёл», указывающие скорее на южные, предгорные области Западной и Средней Сибири [ХЕЛИМСКИЙ 1986: 131; ХЕЛИМСКИЙ 1989: 5, 18], хотя, поскольку две последние реконструкции базируются на данных саяно-самодийских языков, они могут иметь отношение не к общесамодийской эпохе, а к более поздним ареально-генетическим контактам южносамодийских групп.

Для определения экологического ареала для поздне-прасамодийской эпохи (конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.) важное значение имеют прасамодийские этимологии, свидетельствующие о наличии оленеводства: (помимо названий для оленей разного возраста и пола, которые, в принципе, могли существовать и в языке охотников) ПСам *\*kənsə* «нарты» [JANHUNEN 1977: 52] – скорее

всего, именно олени нарты, так как это значение имеют производные данного слова во всех языках, а использование собачьих упряжек было нехарактерно для самодийцев, ПСам *\*kaptə* «кастрированный олень» [JANHUNEN 1977: 60], сюда же может быть отнесено и ПСам *\*teə* «(домашний) северный олень» [JANHUNEN 1977: 155] – хотя, естественно, остаётся неясным, с каких пор это слово начало применяться именно к домашнему оленю. В то же время для самодийского праязыка реконструируется также слово, обозначавшее лошадь: ПСам *\*juntə* [JANHUNEN 1977: 49], заимствованное, вероятно, из тюркского источника – ср. др.-тюр. *\*jund* «лошадь» (см. [SINOR 1967]) – это едва ли позволяет предполагать, что самодийское оленеводство развивалось далеко на севере, в тундре. О позднем выходе самодийцев в полярные районы, свидетельствует отсутствие в общесамодийском лексиконе таких понятий как «тундра» и «северное сияние» – при том, что прасеверно-самодийские (ненецко-энецко-нганасанские) *\*jaŋor* «тундра» и *\*karpə* «северное сияние» являются тунгусскими или тунгусо-маньчжурскими заимствованиями (ср. соответственно ПТМ *\*jaŋ-ur* «ровное, мшистое место (на горе), горная тундра» и *\*garpa* «излучать свет, сиять») [ХЕЛИМСКИЙ 1989: 13].

Важно, что ПСам *\*jam* «море» могло значить также «большая река», а в ненецком языке означает конкретно «Обь» [JANHUNEN 1977: 40] – в то же время ПСам *\*jentəsa* «Енисей», дериват которого в тазовском диалекте селькупского языка также означает «море» [JANHUNEN 1977: 43], является заимствованием из тунгусского языка: эвк. *jendeŋi* (в записи XVIII в. *Ioandesi*) «Енисей» < ПТМ *\*jene/\*jeŋe* «большая река» [ХЕЛИМСКИЙ 1989: 8]: это означает, во-первых, что в поздне-прасамодийскую эпоху носители самодийского праязыка обитали вблизи Енисея, во-вторых – что выход прасамодийцев к Енисею имел место в относительно позднее время, роль «большой реки» на более ранних этапах их предыстории играла, по-видимому, Обь.

Изложенный здесь материал позволяет поместить прасамодийский экологический ареал в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. в зоне южной и/или средней западносибирской тайги, в междуречье Средней Оби и Енисея.

## СОКРАЩЕНИЯ

ав.	– авестийский
арм.	– армянский
венг.	– венгерский
дард.	– дардские
др.-гр.	– древнегреческий
др.-инд.	– древнеиндийский
др.-ц.-сл.	– древнецерковнославянский
и.-е.	– индоевропейский
кам.	– камасинский
койб.	– койбальский

---

лат.	– латинский
латыш.	– латышский
лит.	– литовский
манс.	– мансийский
ВКон.	– верхняя Конда
НКон.	– нижняя Конда
Кон.	– Конда
П.	– Пелым
Со.	– Сосьва
Тав.	– Тавда
мар.	– марийский
Г	– горный
ЛВ	– лугово-восточный
монг.	– монгольский
морд.	– мордовский
М	– мокшанский
Э	– эрзянский
нен.	– ненецкий
Л	– лесной
Т	– тундровый
ПДрав	– прадравидийский
ПИЕ	– праиндоевропейский
ППерм	– прапермский
ПСам	– прасамодийский
ПСлав	– праславянский
ПТМ	– пратунгусо-маньчжурский
ПТю	– пратюркский
ПУ	– прауральский
ПФУ	– прафинно-угорский
ПЮУ	– праюкагино-уральский
саам.	– саамский
Ин.	– Инари
К.	– кольский
Кар.	– Карасйоки
Л.	– Луле
Н.	– норвежский
Нот.	– нотозерский
Нуор.	– Нуорттярви
сельк.	– селькупский
тох.	– тохарский
удм.	– удмуртский
Ф.-волж.	– финно-волжский
Ф.-перм.	– финно-пермский
фин.	– финский

хант.	– хантыйский
Вас.	– Васюган
Дем.	– Демьянка
Каз.	– Казым
Низ.	– Низям
Обд.	– Обдорск
эвк.	– эвенкийский
Эвн.	– эвенский
юкаг.	– юкагирский
Кол.	– колымский
Т.	– тундровый
язьв.	– коми-язьвинский

## ЛИТЕРАТУРА

- АЛЕКСЕЕВА, Э. В.  
1971: Млекопитающие плейстоцена юго-востока Западной Сибири. Автореферат диссертации. Ленинград.
- БАДЕР, О. Н.  
1972: О древнейших финно-уграх на Урале и древних финнах между Уралом и Балтикой. *Проблемы археологии и древнейшей истории угров*. Москва.
- БАТАЛОВА, Р. М.  
1975: Коми-пермяцкая диалектология. Москва.  
1993: Коми-пермяцкий язык, *Языки мира, Уральские языки*. Москва.
- БЕККЕР, Э. Г.  
1970: О некоторых параллелях в гидронимии Европейского Севера и Западной Сибири. *Языки и топонимия Сибири. Вып. 2*. Томск.
- БОРИСОВ, П. Г.  
1923: Обь-Иртышский водоём (промыслово-биологический очерк) *Рыбное хозяйство*, 4. Москва.
- ВОЛКОВА, В. С., ЛЕВИНА, Т. П.  
1982: Растительность голоцена Западной Сибири по палинологическим данным. *Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене*. Москва.
- Гуя, Я.  
1974: Прародина финно-угров и разделение финно-угорской этнической общности // *Основы финно-угорского языкознания. Том. 1. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков*. Москва.
- ДУЛЬЗОН, А. П.  
1961: Дорусское население Западной Сибири. *Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока*. Новосибирск.
- ЕВРОПЕУС, Д. П.  
1874: Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России до прибытия туда нынешних жителей. Санкт-Петербург.
- КАЗАНЦЕВ, Д. Е.  
1980: К вопросу о месте и времени проникновения иранских слов в древнемарийский язык. *Вопросы грамматики и лексикологии/Труды МарНИИ. Вып. 43*. Йошкар-Ола.
- КЁППЕН, Ф.  
1886: Материалы к вопросу о первоначальной родине и первобытном родстве индоевропейского и финно-угорского племени. Санкт-Петербург.
- КИРЮШИН, Ю. Ф., МАЛОЛЕТКО, А. М.  
1979: Бронзовый век Васюганья. Томск.

- КУЗМИНА, И. Е.  
1971: Формирование териофауны Северного Урала в позднем антропогене. *Материалы по фауне антропогена СССР*. Ленинград.
- КЭСК.  
ЛЫТКИН, В. И., ГУЛЯЕВ, Е. И.  
1970: Краткий этимологический словарь коми языка. Москва.
- ЛУКИНА, Н. В.  
1985: Формирование материальной культуры хантов (восточная группа). Томск.
- МАТВЕЕВ, А. К.  
1964а: Субстратная топонимика Русского Севера, *Вопросы языкознания*. N2. Москва.  
1964б: О древнем расселении самодийцев по данным топонимики. *Топонимика Востока*. Москва.  
1968: О древнейших местах расселения угорских народов (по данным языка). *Труды Камской археологической экспедиции. Вып. 4 / Учёные записки Пермского университета. Вып. 191*. Пермь.  
1979: Древнее саамское население на территории севера Восточно-Европейской равнины. *К истории малых народностей Европейского Севера СССР*. Петрозаводск.  
1982: К вопросу о западных границах первоначального расселения манси по данным топонимии. *Ономастика Европейского Севера СССР*. Мурманск.
- МЕЙНАНДЕР, К. Ф.  
1982: Финны – часть населения Северо-Востока Европы. *Финно-угорский сборник*. Москва.
- МУЛЛОНЕН, И. И.  
1994: Очерки вепсской топонимии. Санкт-Петербург.
- НАПОЛЬСКИХ В. В.  
1989: Исторические импликации двух уральских этимологий // *Советское финно-угроведение*, 25: 2. Таллин.  
1991: древнейшие этапы происхождения народов уральской языковой семьи: данные мифологической реконструкции (прауральский космогонический миф). Москва.  
1994: О времени и исторических условиях урало-тохарских контактов. *Journal de la Société finno-ougrienne*, 85. Helsinki.
- НЕЙШТАДТ, М. И.  
1957: История лесов и палеогеография СССР в голоцене. Москва.
- НИКОЛАЕВА, И. А.  
1988: О соответствиях уральских аффрикат и сибилантов в юкагирском языке. *Советское финно-угроведение*, 24: 2. Таллин.
- ПЕЛИХ, Г. И.  
1972: Происхождение селькупов. Томск.
- ПТИЦЫ  
1982: Птицы СССР. История изучения. Гагары. Поганки. Трубноносые. Москва.
- СВОДЕШ, М.  
1960: Лексико-статистическое датирование доисторических этнических контактов. *Новое в лингвистике. Выпуск 1*. Москва.
- СЕРЕБРЕННИКОВ, Б. А.  
1989: Существовала ли финно-волжская языковая общность. *Финно-волжская языковая общность*. Ред. Б. А. Серебрянников. Москва.
- СТАРОСТИН, С. А.  
1989: Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика. *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Часть 1*. Москва.
- ТЕРЕНТЬЕВ, В. А.  
1983: Древнейшие заимствования из тюркских языков в самодийские. *Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов*. Омск.
- ТРЕТЬЯКОВ, П. Н.  
1961: У истоков этнической истории финно-угорских племён. *Советская этнография*, 2. Москва.
- ФАСМЕР, М.  
1986–1987: I–IV. Этимологический словарь русского языка. Том I–IV. Москва.
- ХАЙДУ, П.  
1985: Уральские языки и народы/Пер, с венг. Е. А. Хелимского. Москва.

- ХАЛИКОВ, А. Х.  
1967: У истоков финно-угорских народов. *Происхождение марийского народа*. Йошкар-Ола.
- ХЕЛИМСКИЙ, Е. А.  
1982: Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. Москва.  
1983: Ранние этапы этногенеза и этнической истории самодийцев в свете языковых данных. *Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов*. Москва.  
1986: Etymologica 1–48 (материалы по этимологии маторско-тайгйско-карагасского языка). *Nyelvtudományi közlemények*, 88. Budapest.  
1989: Самодийская лингвистическая реконструкция и пранстория самодийцев. *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Часть 2*. Москва.
- ХОНТИ, Л.  
1993а: Мансийский язык. *Языки мира. Уральские языки*. Москва.  
1993б: Хантыйский язык. *Языки мира. Уральские языки*. Москва.
- ХОТИНСКИЙ, Н. А.  
1977: Голоцен Северной Евразии. Москва.
- ЦЕПКИН, Е. А.  
1966: Фауна рыб голоцена азиатской части СССР (по археологическим материалам). Автореферат диссертации. Москва.  
1981: Антропогенные изменения позднечетвертичной ихтиофауны континентальных водоёмов СССР. *Антропогенные факторы в истории развития современных экосистем*. Москва.
- ЧЕРНЕЦОВ, В. Н.  
1963: К вопросу о месте и времени формирования уральской (финно-угро-самодийской) общности. *Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Budapest.
- AMINOFF, T.  
1873: Kyhyt silmays itaisten suomensukuisten kansain historiaan ennen heidan joutumistansa Wenajan wallan alle. *Koitar: Savo-karjalaisen osakunnan albumi*, 2. Helsinki.
- BERECZKI, G.  
1963: Взаимоотношения марийской лексики с лексикой мордовских и пермских языков. *Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Budapest.  
1974: Существовала ли праволжская общность финно-угров? *Acta Linguistica*, ??- Budapest.  
1992: Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte. II. *Studia uralo-altaica*, 34. Szeged.
- BURROW, T., EMENEAU, M. B.  
1984: A Dravidian etymological dictionary. 2<sup>nd</sup> ed. Oxford.
- CASTREN, M. A.  
1862: Über die Ursitze des finnischen Volkes. CASTREN M. A. *Nordische Reisen und Forschungen*. Hrsg. A. SCHIEFNER. Bd. 5. *Kleinere Schriften*. St. Petersburg.
- COLLINDER, B.  
1965: Hat das Uralische Verwandte? Eine Sprachvergleichende Untersuchung. *Acta Universitatis Upsaliensis. Acta Societatis linguisticae Upsaliensis. Nova Series*, 1: 4. Uppsala.
- DECSY, DY.  
1965: Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden.
- DONNER, O.  
1936: Om finnarnes forna boningsplatser i Ryssland. *Memoires de la Société Finno-Ougrienne*, 71. Helsinki.
- ERDÉLYI, I.  
1969: Neuere Forschungen zur Urgeschichte der Wolga-finnen. *Ural-altaische Jahrbücher*, 41. Wiesbaden.
- EUROPEUS, A.  
1929: Uusia kivikauden taideloytoja. *Suomen Museo*, 26. Helsinki.
- HAJDÚ, P.  
1952: A szamojédok etnogeneziséhez. *Nyelvtudományi közlemények*, 53. Budapest.  
1953: A magyarság kialakulásának előzményei. *Nyelvtudományi értekezések*, 2. Budapest.  
1964a: Észrevételek László Gyula «Östörténetünk legkorábbi szakaszai» c. könyvéhez. *Archaeologiai értesítő. Köt. 91: 1*. Budapest.  
1964b: Über die alten Siedlungsräume der uralischen Sprachfamilie. *Acta Linguistica*, 14: 1–2. Budapest.  
1969: Finnougrische Urheimatforschung. *Ural-altaische Jahrbücher*, 41. Wiesbaden.  
1976: Linguistic background of genetic relationships. *Ancient cultures of the Uralian peoples*. Ed. P. HAJDÚ. Budapest.  
1988: Ökologische «Argumente» gegen sibirische Siedlungsplätze der Uralier. *Specimina Sibirica*, 1. Pécs.



- HAKKINEN, K.  
1984: Wäre es schon an der Zeit, den Stammbaum zu fallen? *Ural-altaische Jahrbücher*, 4. Wiesbaden.
- IEW  
POKORNY J.  
1959: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern–Wien.
- JANHUNEN, J.  
1977: Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. *Castrenianumin toimitteita*, 17. Helsinki.  
1981: Uralilaisen kantakielen sanastosta. *JSFOu*, 77. Helsinki.
- KÁLMÁN, B.  
1938: Obi-ugor állatnevek. *A Magyar nyelvtudományi társaság kiadványai. Köt. 43.* Budapest.
- KANNISTO, A.  
1927a: Über die früheren Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung. *Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. 28.* Helsinki.  
1927b: Zur Frage nach den älteren Wohnsitzer der obugrischen Völker. *Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. 28.* Helsinki.
- KORHONEN, M.  
1976: Suomen kantakielten kronologiaa. *Virittaja*, 80: 1. Helsinki.
- KRAINOV, D. A.  
1992: On the problem of origin, chronology and periodization of the Fatyanovo-Balanovo cultural community. *Praehistorica*, 19. *Schnurkeramik symposium 1990.* Praha.
- LARSSON, L.-G.  
1990: Zum Problem der uralischen Urheimat. *Linguistica uralica*, 26: 4. Tallinn.
- LÁSZLÓ, Gy.  
1961: Östörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor östörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön. Budapest.
- MAKKAY, J.  
1990: New aspects of the PIE and the PU/PFU homelands: contacts and frontiers between the Baltic and the Ural in the neolithic. *Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum*, 1A. Debrecen.
- MOÓR, E.  
1952: Nyelvünk legősibb fémnevei. *Nyelvtudományi közlemények*, 53. Budapest.  
1963: Diskussionsbeitrag zum Vortrag von W. N. Tschernetzow. *Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Budapest.
- MSzFE.  
1967–1978: Magyar szókészlet finnugor elemei. I–III. Szerk. GY. LAKÓ, K. RÉDEI. Budapest.
- NAPOLSKIKH, V. V.  
1993: Uralic fish-names and original home. *Ural-altaische Jahrbücher*, 12. Wiesbaden.
- NÚÑEZ, M.  
1987: A model for the early settlement of Finland. *Fennoscandia archaeologica. T. 4.* Helsinki.
- PAASONEN, H.  
1901: Über die Benennung des Roggens im Syriaisch-Wotjakischen und im Mordwinischen. *JSFOu*, 26. Helsinki.
- IEW.  
POKORNY, J.  
1969: Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk Sprachen. Helsinki.
- RAUN, A.  
1956: Über die sogenannte lexicostatistische Methode oder Glottochronologie und ihre Anwendung auf das Finnisch-Ugrische und Türkische. *Ural-Altaische Jahrbücher*, 28. Wiesbaden.
- RAVILA, P.  
1949: Suomen suku ja suomen kansa. *Suomen historian kasikirja*, 1. Porvoo–Helsinki.
- RÉDEI, K.  
1986: Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. *Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte. Bd. 468.* Wien.
- SAMMALAHTI, P.  
1988: Historical phonology of the Uralic languages. *The Uralic languages. Description, history and foreign influences ed. D. SINOR.* Leiden–New York–Kobenhavn–Köln.
- SEBESTYÉN, I. N.  
1935: Az uráli nyelvek régi halnevei. *Nyelvtudományi közlemények*, 49. Budapest.

- SEBESTYÉN, I. N.  
1943: Fák és fás helyek régi nevei az uráli nyelvekben. *Nyelvtudományi közlemények*, 51. Budapest.  
1951: Zur Frage des alten Wohngebietes der uralischen Völker. *Acta Linguistica*, 1: 1. Budapest.
- SETALA, E. N.  
1926: Suomensukuisten kansojen esihistoria. *Suomen suku*, 1. Helsinki.
- SZIJ, E.  
1990: Finnugor hol-mi. I. Budapest.
- SINOR, D.  
1967: Notes on the equine terminology of the Altaic peoples. *Central Asiatic Journal*, 10: 3–4. Bloomington.
- TAAGEPERA, R.  
1994: The linguistic distances between Uralic languages. *Linguistica uralica*, 30: 3. Tallinn.
- TOIVONEN, Y.  
1952: Zur Frage der finnisch-ugrischen Urheimat. *JSFOu*, 56. Helsinki.
- TYLER, S. A.  
1968: Dravidian and Uralian: the lexical evidence. *Language*, 44: 4. Baltimore.
- UEW.  
1986–1991: RÉDEI, K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest.
- VASMER, M.  
1934–1936: Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. I–IV. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse. Bd. 18–20*. Berlin.
- VERES, P.  
1971: Újabb adatok a finnugor és magyar őstörténethoz. *Néprajzi értesítő. Köt. 53*. Budapest.  
1991: A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján. *Népi kultúra – népi társadalom. Köt. 16*. Budapest.